

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



Л. Н. Толстой
**АННА
КАРЕНИНА**



Школьная библиотека (Детская литература)

Лев Толстой

Анна Каренина. Том 1. Части 1-4

Издательство «Детская литература»

1873–1877

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

Толстой Л. Н.

Анна Каренина. Том 1. Части 1-4 / Л. Н. Толстой — Издательство
«Детская литература», 1873–1877 — (Школьная библиотека
(Детская литература))

ISBN 5-08-004158-7

В книгу вошли части первая – четвертая романа «Анна Каренина».

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 5-08-004158-7

© Толстой Л. Н., 1873–1877
© Издательство «Детская
литература», 1873–1877

Содержание

Свободный роман	7
Анна Каренина	37
Часть первая	37
I	37
II	39
III	40
IV	43
V	46
VI	50
VII	52
VIII	53
IX	55
X	59
XI	63
XII	66
XIII	68
XIV	69
XV	73
XVI	74
XVII	75
XVIII	77
XIX	80
Конец ознакомительного фрагмента.	84

Лев Николаевич Толстой

Анна Каренина. Том 1. Части 1–4

© Издательство «Детская литература». Оформление серии, 2006

© А. В. Гулин. Вступительная статья, 2006

© Э. Г. Бабаев. Комментарии. Наследники

© Н. И. Пискарев. Рисунки. Наследники

* * *



Лев Толстой

1828—1910

Свободный роман

В конце 1917 – начале 1918 года в тобольском заточении государь Николай II много читал. Это были в основном произведения русской классической литературы. В первые недели марта наступила очередь «Анны Карениной» Толстого. До этого, приученный с детства быть систематичным в делах, император прочел подряд собрания сочинений Мельникова-Печерского, Салтыкова-Щедрина, Лескова, несколько романов Тургенева. То ли из всего огромного наследия Толстого у него находился под рукой лишь этот роман, то ли выбор сделан был сознательно, но именно «Анна Каренина» привлекла его внимание.

Вокруг бушевала смута. «Удерживающий», государь был устранен из русского мира. Наверное, он хорошо помнил обращенные к нему по разному поводу частные и открытые письма Толстого, где писатель убеждал его, что самодержавие, православная вера отжили свой век, призывал изменить «сверху» исторический строй национальной жизни, предоставить полную свободу «естественным началам бытия». На рубеже XIX и XX столетий Толстой доказывал необходимость избавиться от государства, армии, Церкви, существующих в обществе хозяйственных отношений – этих, как полагал он, « пороков цивилизации», – не только царю, но и всем его подданным. Толстому казалось – так начнется установление рая на земле.

Самодержец Николай II сознавал гибельность подобных утопий, видел в них одно из многих орудий русской и мировой революции; данной ему властью он препятствовал их распространению. Государь, конечно, не забыл воинственно антиправославные сочинения последних лет жизни Толстого. Ему были известны резкое отношение писателя к нему лично, ко всей династии Романовых, та ненависть, без которой не мог упоминать Толстой имя его прадеда, Николая I.

Но царь помнил, вероятно, и другое: как восхищался талантом художника чуткий к изящным искусствам его отец, Александр III (он гордился этим достоянием своей державы), как сам он открывал для себя повести и романы великого писателя. Дарование Толстого он чтит всегда.

Подобно всем русским книгам, прочитанным в это скорбное время, «Анна Каренина» не только позволяла императору забыться среди уготованных ему испытаний. Государь хотел окинуть последним любящим взглядом ту страну, которой больше не было, увидеть ее силу и ее слабость, понять, как приближалась к ней наступившая катастрофа.

Роман Толстого в этом отношении давал очень многое. Не потому ли Николай II, всегда сдержанный в передаче своих эмоций, отметил на страницах дневника, что читает его с увлечением? Праведный семьянин, он, должно быть, находил в этой книге и дорогую своему сердцу мысль о святости домашнего очага, и горькую правду о повсеместной драме его разрушения. Самодержец, он прикасался к тайне русского разлада в его обыденных, житейских и потому самых достоверных проявлениях. Вся Россия на пороге смутной поры, освещенная необыкновенным поэтическим светом, открывалась тут его взгляду.

В создателе этого художественного чуда временами угадывался хорошо знакомый вольнодумец. И все же то был словно другой Толстой: смягченный, «пошатнувшийся» или еще не до конца окрепший в собственных иллюзиях, просто открывающий русским словом в полную меру полученного им дарования вечные истины о человеке и мире.

Всего четыре с небольшим месяца оставалось до мученической кончины императора и его семьи. С той духовной высоты, на которую поднялся он теперь, – всеми, почти всеми обманутый и преданный, – государь неустанно молился о России, о любящих его и ненавидящих... Он прощал всех и готовился умереть за всех. Его молитва была о стране, ярко запечатленной, в том числе, гением Толстого, была она и о самом писателе – мятежном сыне этой страны.

* * *

Лев Николаевич Толстой – больше чем художник, но в романе «Анна Каренина» он художник больше, чем где бы то ни было. В судьбе каждого человека среди неизбежных страстей, борьбы, соблазнов случаются моменты, когда земные тревоги ослабляют свою власть над сердцем, душа обретает иную меру вещей и все, что мы видим в себе и вокруг себя, словно освещается неземным, возвышенным светом. Такое время наступило для Толстого в середине 1870-х годов, когда была написана «Анна Каренина».

Появление этой книги тем более удивительно, что Толстой по глубинной сути своей очень земной писатель, вероятно, даже самый земной среди всех когда-либо существовавших. Он не просто любил, он боготворил землю и земное непосредственное чувство. Он бесконечно ценил мировую изменчивость, постоянное, как волнение самой природы, душевное беспокойство. Он поклонялся живой материи: в каждом ее вздохе Толстому слышалось некое «всеобщее дыхание», присутствие доброго и прекрасного божества.

Эта смолоду найденная вера вела художника через всю жизнь. В ней находились истоки его колоссальной изобразительной силы, исключительной всеохватности созданного им творческого мира. И отсюда же берет свое начало нарастающая с годами противоречивость художественной мысли Толстого.

В 1860-е годы он написал «Войну и мир» – великую книгу о национальной истории начала XIX века, о «сущности характера русского народа и войска» и вместе с тем произведение, где возникла как бы новая вселенная, от начала до конца послушная законам толстовской веры. Земная философия художника воплотилась тут и в судьбах многочисленных персонажей, и в горячих, взволнованных авторских высказываниях. Позднее, начиная с 1880-х годов, Толстой выступит как создатель собственного вероучения и общественный деятель. Он напишет религиозно-философские трактаты, многочисленные публицистические сочинения. Его центральным поэтическим созданием того времени станет «Воскресение» – страстное, мятущееся «письмо всем» (так назовет он однажды этот свой роман), где будет утверждаться необходимость «полюбовного» переворота вселенной. Культурный расцвет и духовная катастрофа эпохи причудливо соединились в художественном мире Толстого, – может быть, самого «исторического» человека за два последних столетия русской жизни.

«Анна Каренина» возникла во время своеобразной внутренней «заминки», которую испытал Толстой в период между двумя наиболее масштабными событиями своей духовной биографии: созданием «Войны и мира» и выработкой собственного религиозного учения.

Написанная в 1860-х годах, грандиозная книга о прошлом, утверждая новые мировые законы, требовала воплощения этих законов наяву. И она же, как любая утопическая система (в этом случае художественная), неизбежно привела Толстого к тяжелому душевному кризису. В сентябре 1869 года («Война и мир» была почти закончена), оказавшись в городе Арзамасе, писатель пережил вечно памятную для него «ночь ужаса». Панический страх смерти, отвращение к жизни и ненависть к ее Источнику за эту земную обреченность всего сущего надрывали его душу. Только родные с детства православные молитвы помогли Толстому-мироправителю заглушить в себе внезапно прорвавшийся голос какой-то свирепой, темной, нечеловеческой силы.

Годы спустя на страницах незавершенного рассказа «Записки сумасшедшего» художник попытается истолковать все, что происходило с ним той ночью, под углом своих позднейших религиозных понятий. А между тем ему дано было ощутить наяву действительные, а не иллюзорные духовные законы, которые действуют в мире так же непреложно, как законы естественной жизни. Где же это еще могло происходить вернее, как не в нескольких десятках верст от

обители, в которой просияла слава великого подвижника русской веры преподобного Серафима Саровского?

После арзамасской ночи Толстой, конечно, не оставил привычного для него взгляда на вещи. Отказаться от своей особенной веры значило переменить все, чем он жил до этого. В письмах, на страницах записных книжек художник нередко продолжал и теперь высказываться в духе столь дорогой ему «религии чувства». Тем не менее опыт, полученный в Арзамасе, тоже не прошел бесследно. Несколько раз в течение своей жизни Толстой искренне пытался вернуться на путь Православия (формально, вплоть до отлучения от Церкви в 1901 году, он так и продолжал числиться православным). По завершении «Войны и мира» это стремление, похоже, вновь напомнило о себе.

Осенью 1873 года в имение Толстого Ясная Поляна, выполняя поручение П. М. Третьякова, приехал художник И. Н. Крамской, чтобы написать портрет знаменитого литератора (это было первое среди многочисленных живописных его изображений). Толстой неохотно согласился ему позировать. Впрочем, лучший портретист своего времени оказался интересен Толстому и как человек, работающий в иной области искусства, и как представитель популярного среди городской молодежи откровенно материалистического направления мыслей. В общении с ним писатель неожиданно твердо (насколько об этом можно судить) стал на отеческую точку зрения. «У меня каждый день, – рассказывал он А. А. Фету, – вот уже с неделю, живописец Крамской делает мой портрет в Третьяковскую галерею, и я сижу и болтаю с ним и из петербургской стараюсь обращать его в крещеную веру». Почти в тех же словах Толстой обрисует эти художественные сеансы и другому своему близкому другу – литературному критику и публицисту Н. Н. Страхову.

Время, когда проходила работа над «Анной Карениной», для Толстого оказалось далеко не безоблачным. Ясную Поляну, в самом воздухе которой прежде была разлита радость бытия, с наступлением 1870-х годов потрясали семейные утраты. Один за другим вскоре после рождения умерли трое маленьких детей писателя. Уходили из жизни люди старшего поколения: любимая Толстым его дальняя родственница Т. А. Ергольская (когда-то она занималась его воспитанием), родная тетка П. И. Юшкова.

Эта череда печальных событий постоянно возвращала Толстого к мыслям о смерти. И она же внушала ему порой смирение перед неизбежным. Несколькими годами раньше он написал сестре своей жены, Т. А. Кузминской, у которой умерла дочь: «В смерти близкого существа, особенно такого прелестного существа, как ребенок и как этот ребенок, есть удивительная, хотя и печальная прелесть. Зачем жить и умирать ребенку? Это – страшная загадка. И для меня одно есть объяснение. *Ей лучше*. Как ни обыкновенны эти слова, они всегда новы и глубоки, если их понимать. И нам лучше, и мы должны делаться лучше после этих горестей. <...> Главное – без ропота, а с мыслью, что нам нельзя понять, что мы и зачем, и только смиряться надо».

Все было неустойчиво, подвижно в душевном мире Толстого 1870-х годов. Земная вера минувших лет не приносила писателю, как прежде, безграничной уверенности в себе. Поворот в сторону Православия тоже всего лишь наметился. Временами Толстой, как то бывало с ним уже не раз, пытался убедить себя, что его отдельная религиозная философия вовсе не мешает ему быть вполне и до конца православным. На самом же деле он стоял перед выбором: продолжить (но уже в новом качестве «преобразователя жизни») раз начатое движение к «земному идеалу» или, опомнившись, решительно воссоединиться с глубинными истоками национального бытия. В своих колебаниях Толстой, разумеется, был не одинок. Вот так же находилось на распутье (за исключением очень немногих духовно крепких людей) и все русское образованное общество той эпохи.

Творчество Толстого, иначе и быть не могло, стало теперь существенно другим. Может быть, дар писателя как раз и нуждался в этой «духовной паузе», чтобы раскрыться со всей возможной силой и чистотой. Нечто подобное уже происходило с Толстым однажды, в начале

1860-х годов, когда он завершал повесть «Казачья» (и тогда был религиозный кризис, и тогда для художника предельно обострилась проблема внутреннего выбора). Десятилетие спустя главный «стержень» его жизни и творчества вновь пошатнулся. И Толстой опять неожиданно ощутил себя не тем «создателем миров», художником-диктатором, каким он был в минувшие годы, каким он станет опять по прошествии времени, а только чутким наблюдателем действительности. Религиозный мыслитель словно отошел в тень, и его место занял долго ожидавший своего часа великий поэт.

Все художественные произведения Толстого поэтичны. Тем не менее поэзия «Войны и мира», «Воскресения», большинства повестей и рассказов писателя всегда является продолжением его философии. Как ни увлекают нас показанные Толстым человеческие типы и характеры, как ни завораживают созданные им картины мира, мы чувствуем, что за ними скрыта могучая и самобытная авторская воля. Беспокойная, искренняя и вечно противоречивая мысль художника властвует над его созданиями.

Поэзия «Анны Карениной» другая. Толстой называл эту книгу романом широким, свободным. Еще он любил определение: «роман широкого дыхания». Конечно, он имел в виду свободу, с которой развиваются в «Анне Карениной» многочисленные сюжетные линии, широкое, «необязательное», почти не ограниченное во времени и пространстве движение событий на ее страницах. Но прежде всего писатель хотел определить нечто главное, без чего не могло состояться это произведение «иною склада»: внезапно испытанное состояние внутренней свободы, вдруг обретенной независимости от философических понятий минувших лет.

Душевные метания, мысли о мировом переустройстве пусть не до конца, но все же оставили его в этом романе. К Толстому пришло освобождение и вместе с ним ясный, умиротворенный взгляд на вещи. Слово художника (собственно, оно и было той материей, где решалось абсолютно все) немедленно отзывалось на происходящие перемены. В нем появились удивительная легкость, прозрачность, открытость небесному. Вместо того чтобы «наполняться» своевольными значениями, оно раскрывало теперь все заложенное в русском языке смысловое и нравственное богатство, становилось по-настоящему объемным. Высокая красота и правда звучали в этой не по-толстовски музыкальной поэтической речи. И поразительно, читая «Войну и мир», мы всегда чувствуем, как переполнена жизненным материалом едва ли не каждая страница романа, ощущаем его масштабность, огромность. «Анна Каренина» с ее бесчисленными персонажами, занимая без малого тысячу страниц, все равно производит впечатление почти воздушное. Поэзия Толстого, о чем бы ни говорил художник, питалась на этот раз не только земными страстями и волнениями.

* * *

Свободный роман – определение пушкинское. Именно так создатель «Евгения Онегина» однажды назвал свой роман в стихах, по существу, первый великий роман русской литературы. В истории работы Толстого над «Анной Карениной» с Пушкина все и начиналось. Начало это было настолько неожиданным, что его поневоле хочется назвать чудесным. Во всяком случае, в жизни писателя ничего подобного, кажется, никогда больше не происходило.

Всю вторую половину 1872 года и первые месяцы наступившего 1873 года Толстой упорно трудился над произведением «из времени» Петра I. Он десятки раз «делал приступы» к волнующему его материалу – и все безуспешно. То ли ему (в отличие от Наполеоновской эпохи) был неясен внутренний мир людей конца XVII – начала XVIII столетия, то ли отталкивал неизбежно жестокий и кровавый характер петровского царствования, только новая книга о прошлом не продвигалась. В один из дней середины марта Толстой по чистой случайности (он и его жена подыскивали книгу для чтения своему сыну Сергею) достал с полки том из собрания сочинений Пушкина, где была напечатана проза. Он сам принялся читать и увлекся: хорошо

знакомые произведения теперь открылись ему в новом свете. Эту свою встречу с творчеством Пушкина писатель пережил как подлинное озарение. Жена Толстого Софья Андреевна отметила слова, сказанные им в то время: «Многому я учусь у Пушкина, он мой отец, и у него надо учиться». И вот без всякого перехода, может быть в течение одного дня, Толстой отложил в сторону незадавшийся «петровский роман» (позднее он еще вернется к этому замыслу) и начал писать «в пушкинском духе» роман о современности.

До сих пор Толстой, как всякий русский писатель XIX века, конечно, сознавал, что его литературная родословная начинается от Пушкина. Тем не менее он был художником «аналитической» эпохи, не представлявшим себе творчества без развернутых картин душевной жизни человека, придирчиво-доскональных «погружений» в мысли и чувства своих персонажей. «Повести Пушкина голы как-то», – однажды заметил он еще молодым человеком. Вечное желание «вторгаться в мир», искусно «расщеплять» его анализом и заново выстраивать «из самого себя» порой уводило Толстого очень далеко от пушкинской традиции высокого созерцания жизни в поэтическом слове. Но именно теперь, в период «пошатнувшихся основ», Пушкин оказался той самой опорой, которую искал художник, стал для него лучшим, эталонным выражением его собственных творческих устремлений. «Он как будто разрешил все мои сомнения», – признавался Толстой.

Заново открывая Пушкина, он словно возвращался к неомраченной природе своего таланта. Отсюда – радость обновления, душевный подъем, испытанные писателем в первые же недели начатого труда. «Войну и мир» он не считал романом, он говорил – «книга». Точно так же позднее он затруднялся определить жанровую природу «Воскресения». Создавая «Анну Каренину», Толстой знал, что работает в традиционном жанре: пишет роман, и это обстоятельство нисколько ему не мешало, скорее, наоборот, странным образом придавало сил. Всегда избегавший литературных образцов, на этот раз, по его собственному признанию, он «оттолкнулся» прямо от пушкинского текста. Среди прозаических сочинений Пушкина писателя особенно поразил отрывок «Гости съезжались на дачу...». «Я невольно, нечаянно, сам не зная зачем и что будет, – рассказывал Толстой, – задумал лица и события, стал продолжать, потом, разумеется, изменил, и вдруг завязалось так красиво и круто, что вышел роман...»

Сюжетная связь между пушкинским отрывком и романом Толстого на самом деле не так уж велика. Что нашел здесь писатель? Рассказ о молодой замужней женщине из высшего общества, которая пренебрегает светскими приличиями (сегодня, да и во времена Толстого, сказали бы: эмансипированная женщина), о свете, который за это наказывает ее клеветой. Тут шла речь о непонятных свету отношениях Зинаиды Вольской (так звали героиню) и молодого человека Минского... На страницах «Анны Карениной» лишь однажды слышится явная перекличка с Пушкиным: в начале второй части романа Анна и ее поклонник Алексей Вронский долго и увлеченно беседуют в стороне от гостей на вечере у княгини Бетси Тверской («Это становится неприлично», – замечает одна из присутствующих дам). Но характер Вольской, обстоятельства ее судьбы до замужества, особое освещение, которое дал Пушкин сценам из жизни избранного общества – все это, как молния, зажгло творческое воображение Толстого. Много раз на протяжении романа он будет подчеркивать в облике Карениной «сдержанную оживленность, которая играла в ее лице и порхала между блестящими глазами и чуть заметной улыбкой». «Лицо ее, изменчивое как облако», – говорил Пушкин о своей героине.

Есть какая-то неуловимая чудесная логика в том, что богатое и многозначное, но далеко не самое известное среди произведений Пушкина вызвало к жизни одно из наиболее ярких явлений русской литературы, словно и было написано в предвидении художника иных времен. Отрывок «Гости съезжались на дачу...» упал как раз на ту почву, где он мог дать неожиданно обильные всходы, упал именно тогда, когда почва эта оказалась готова к его восприятию.

Впечатление, произведенное на Толстого «незаметным» пушкинским шедевром, конечно, было неотделимо от размышлений писателя о судьбе современного ему националь-

ного мира. Явное и скрытое неблагополучие русской жизни, впрочем, и сам постоянно переживая болезни своего времени, Толстой улавливал как мало кто другой. В 1860-е годы, работая над «Войной и миром», он вовсе не бежал от сегодняшнего дня, но хотел противопоставить его угрозам ясные, устойчивые ценности Отечественной войны с Наполеоном (другое дело, что и тут писатель видел все по-своему, как человек переломной эпохи). Задуманный в 1870-е годы роман о России во времена петровских преобразований тоже внутренне увязывался Толстым с теми переменами, которые совершались вокруг. Но уже в «Войне и мире» события национального значения и частная жизнь отдельного человека имели для него равный масштаб. Скажем, на страницах книги о прошлом были вполне сопоставимы катастрофа русской армии под Аустерлицем и «падение» Наташи Ростовой, задумавшей бежать из дома по наущению безнравственного Анатоля Курагина. Точно так же русская победа 1812 года и торжество семейного начала в жизни героев представляли тут нечто одинаково значительное. Образ женщины-эмансипе, неверной жены соединял в себе, по мысли Толстого, все тревожные веяния времени, был не менее «говорящим», чем историческая картина далекой смутной поры.

Разрушение семьи стало во второй половине XIX века частым, слишком частым явлением русской жизни. Этот недуг поразил всю «нервную систему» общества – его образованные сословия. Развод начал восприниматься в избранной среде как дело привычное. Одним из тех, кто создал новую семью с разведенной женой, был троюродный брат Толстого, прекрасный поэт и драматург, человек света, Алексей Константинович Толстой (до этого он и Софья Андреевна Миллер много лет жили вне брака). На поверхностный взгляд в его жизни все устроилось благополучно. Тем не менее нередко сокровенные человеческие отношения оборачивались настоящими катастрофами.

В России былых времен самоубийство воспринималось как невообразимо жуткое, исключительное событие (самоубийцы не узрят Царства Небесного – знал каждый русский человек). Теперь о подобных случаях, вызванных самыми разными причинами, все чаще можно было прочесть в газетах. Один из них был известен Толстому не понаслышке. В нескольких верстах от Ясной Поляны находилось имение помещика-вдовца А. Н. Бибикова. Его экономка, Анна Степановна Пирогова, несколько лет состояла с ним в сожительстве. После того как Бибиков объявил ей, что разрывает их отношения (он решил жениться на гувернантке своего сына), Пирогова 4 января 1872 года бросилась под поезд на расположенной поблизости станции Ясенки. Хорошо знавший Бибикова и Пирогову Толстой, очевидно из жгучего писательского интереса к незнакомым обстоятельствам жизни и смерти, ездил в Ясенки и видел там останки самоубийцы. «Впечатление было ужасное и запало ему глубоко», – рассказывала об этом жена писателя Софья Андреевна.

События и лица, задуманные Толстым вслед за чтением отрывка «Гости съезжались на дачу...», прежде всего – главная героиня будущего романа, какой увидел ее писатель, имели для него вполне эпохальное значение. «Пушкинский луч» только высветил особенно ярко и необходимый Толстому предмет, и единственно возможные способы его изображения. Еще в период изучения «петровских материалов» Толстой восклицал: «Но что за эпоха для художника. На что ни взглянешь, все задача, загадка, разгадка которой только возможна поэзией». Теперь он говорил о другой, современной ему, «трудной» эпохе, всматриваясь в нее «сквозь магический кристалл» поэтического образа.

Сжатая сила и глубина пушкинской прозы настолько захватили его, что сам он решил на этот раз писать, не задерживаясь на психологических подробностях, емко и кратко. Чем иначе объяснить тот факт, что уже две недели спустя после начала работы новый роман казался ему близким к завершению? Действительно, «ядро» будущего произведения в основном определилось именно тогда. И опять нельзя не удивляться: сюжетная основа «Войны и мира» вынашивалась годами, судьбы героев «Воскресения» тоже очень долго были неясны писателю, а «несущий» сюжет «Анны Карениной» сложился почти мгновенно.

Это была история супружеской измены, которая заканчивалась полным нравственным крушением и самоубийством неверной жены под колесами поезда (железной дороге вообще предстояло сыграть на страницах произведения «роковую», символическую роль).

Тем не менее первоначально обозначенный круг событий и лиц оказался тесным для Толстого, постепенно круг этот не только «выравнивался», но и многократно увеличивался в размерах. Все-таки Толстому требовалось раскрыть внутренний мир своих героев обстоятельно и широко (так, как он любил и умел это делать), показать каждого из них в переплетении живых человеческих интересов и отношений. Да и впечатления современной жизни, кажется, сами просились на страницы новой книги.

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» – так начал он свое повествование. Первоначально эти слова Толстой хотел сделать эпиграфом к роману. Еще в то время, когда не определились окончательно имена и характеры его персонажей, у Толстого появился еще один герой – Константин Нерадов. О нем говорилось, что он помещик, что он привез в Москву на выставку выращенных у себя в имении телят. Здесь начиналось развитие совершенно новой сюжетной линии, связанной с будущим Константином Левиным.

Невозможно или почти невозможно написать роман, изображая благополучное семейство: «все счастливые семьи похожи друг на друга». К тому же семейное несчастье стало одной из главных примет времени. И «каренинский» сюжет, разумеется, сохранил для Толстого значение драматического стержня повествования. Между тем история женитьбы Константина Левина и его семейной жизни – история созидания семьи – вскоре начала играть на страницах произведения не меньшую роль, чем история главной героини. Трагическому сюжету постоянно сопутствовал, едва с ним соприкасаясь, «благополучный» (хотя по-своему не менее современный) сюжет. Один из них по контрасту все время оттенял другой. Было время, когда писатель даже собирался дать своей книге название «Два брака». Позднее он все же с полным на то основанием назвал ее «Анна Каренина».

Но не только «каренинская» и «левинская» сюжетные линии определяли содержание романа. Постепенно между его героями возникали сложные родственные, дружеские, деловые отношения, в роман «входили» новые и новые действующие лица, завязывались новые сюжетные узлы. Десятки и даже сотни других историй, то в связи с основными сюжетами, то вполне самостоятельно, занимали свое место на его страницах. Не говоря уже о таких важнейших персонажах, как влюбленный в радости жизни Степан Аркадьич (Стива) Облонский и его усталая жена Долли, «потерянный человек» Николай Левин и рассудительный Сергей Иванович Кознышев – тот и другой братья Константина Левина, – тут появлялись бесчисленные светские люди, помещики, офицеры, чиновники, ученые и художники, священники, купцы и крестьяне. Создавался по-своему законченный «портрет эпохи».

Только в начале 1875 года, после почти двухлетнего труда, Толстой напечатал в журнале «Русский вестник» две первые части некогда столь стремительно начатого романа. Остальные части (всего в «Анне Карениной» их восемь) выходили до лета 1877 года по мере их окончания. Последнюю часть после конфликта с редакцией «Русского вестника» писатель выпустил отдельной брошюрой. Все это время действие романа не только не оставалось в прошлом, там, откуда Толстой начинал свое движение, но шло вперед одновременно с эпохой. Новую книгу от начала до конца пронизывали живые «токи современности». Самые злободневные вопросы хозяйственной, общественной, научной, культурной жизни страны – все, что занимает людей сегодня и сейчас, – присутствовали в судьбах героев, неотделимые от их семейных радостей и невзгод. События общегосударственного масштаба тоже немедленно отражались в художественных картинах романа. Так, сверстник и давний приятель Вронского, генерал Серпуховской, приезжал в Петербург, сделав блестящую карьеру во время присоединения к России новых областей Средней Азии (он напоминал знаменитого полководца тех лет М. Д.

Скобелева). В последней части «Анны Карениной» исключительно большую роль начинала играть тема близкой войны на Балканах и добровольческого движения 1876 года в защиту братьев-славян от османского гнета. Когда Толстой начинал свой роман, он, естественно, не мог предвидеть, что полная душевная опустошенность приведет Алексея Вронского после самоубийства героини в ряды русских добровольцев, уезжающих воевать за освобождение сербов.

На протяжении четырех лет выросло огромное произведение: сложное, многообразное, не похожее ни на одно другое в русской литературе. Что же осталось в нем от Пушкина кроме первоначально загоревшейся творческой искры? Осталось главное: поэзия. История русского классического романа открывалась «Евгением Онегиным» – романом в стихах. Теперь поэтическим романом в прозе она приближалась к своему завершению. Именно поэзия определила многолетний ровный и свободный «ход» произведения Толстого, сообщила многим и многим описаниям художника незнакомую прежде кристальную ясность и чистоту. Он создавал книгу о русском разладе, но как писатель принадлежал на ее страницах не только смутной России.

Дух русской поэзии, пушкинский дух решительно преобразил все и вся в его повествовательном искусстве. Мировая слава Толстого не в последнюю очередь связана с потрясающей скульптурностью, рельефностью запечатленных художником образов бытия (его не случайно часто сравнивали с Микеланджело – великим итальянским живописцем и ваятелем, мастером создания объемных фигур и титанических по размаху композиций). На страницах «Анны Карениной» это свойство не ушло совсем, но обогатилось неземным, вертикальным видением мира. Осязаемое, конкретное стало вдруг символически многозначным. Все, что прежде умел писатель, решительно преумножилось, войдя в целебное русло традиции. Творческие возможности Толстого достигли своей вершины.

Уже современники, по словам Н. Н. Страхова, изумлялись: «Можно же так хорошо писать!» Нигде у Толстого не было (и, пожалуй, больше не будет) столь отточенной, неповторимо свежей метафорической речи, каждый раз как будто разрывающей завесу тайны над тем, о чем рассказывал художник. «Анна шла, – говорилось в романе, – опустив голову и играя кистями башлыка. Лицо ее блестело ярким блеском; но блеск этот был не веселый – он напоминал страшный блеск пожара среди темной ночи». А вот переживания Константина Левина, который приехал в Москву делать предложение своей любимой девушке Кити Щербацкой и внезапно увидел ее на катке среди многих людей: «Ничего, казалось, не было особенного ни в ее одежде, ни в ее позе; но для Левина так же легко было узнать ее в этой толпе, как розан в крапиве. Все освещалось ею. Она была улыбка, озарявшая все вокруг. <...> Он сошел вниз, избегая подолгу смотреть на нее, как на солнце, но он видел ее, как солнце, и не глядя».

Не было таких состояний человеческой души, таких положений и ситуаций, для которых писатель не нашел бы в новом романе самых верных, законченных и ярких определений. Временами и этого ему становилось мало, он делал «вылазки» в неведомые человеку жизненные сферы, и тогда удивленным читателям открывалась, к примеру, единственная в своем роде картина охоты Левина, вдруг увиденной глазами его собаки, старой многоопытной Ласки. Изобразительная сила художника в эту пору оказалась поистине невероятной. Каждая из бесчисленных сцен русской жизни, каждое лицо, показанное в романе, сияли множеством красок, положенных искусно и тонко, образующих неповторимые сочетания тонов и оттенков.

И в самом деле, «Анна Каренина» – словно огромная Третьяковская галерея под одной обложкой. Здесь одинаково широко и обильно представлены психологический портрет, жанровая сцена, городской вид и пейзаж. Нет, пожалуй, исторических сюжетов, но разве все, что мы встречаем в романе, не есть живая история, увиденная современником из глубины сегоднешнего дня. А до чего разнообразна «художественная техника» Толстого! Тут есть и живопись всех возможных видов, и карандашный рисунок, и мягкие цветовые переходы акварели. А сколько творческих манер, даже направлений совмещает в себе художник! Он будто в одно

и то же время и Крамской, и Перов, и Саврасов, и Репин, и Машков, и Серов, и Шишкин... И все это рождено единым высоким поэтическим духом!

Нельзя сказать, что в годы создания «Анны Карениной» Толстой-мыслитель, Толстой – вершитель миров и судеб замолчал полностью. Когда миновало время самого первого творческого порыва, писатель жаловался порой близким своим друзьям, как надоела ему «пошлая» «Анна Каренина», как хочется ему поскорее закончить роман, чтобы освободить место для других, «философических» занятий. Внутренняя свобода и независимость, обретенные им в этом труде, временами пугали его самого. Позднее, когда в его жизни настала пора «религиозного учительства», ни одно из его художественных творений раннего и зрелого периода (он вообще крайне резко оценивал тогда свое «допереломное» творчество) не вызывало у Толстого такой досады, как этот «роман широкого дыхания». Но тогда, в 1870-е годы, раз найденная высокая точка отсчета просто не позволяла ему вполне посвятить себя, свой талант мирским заботам и пристрастиям прежде, чем будет закончена начатая работа.

* * *

При подготовке к печати первых частей «Анны Карениной» Толстой предпослал своему роману эпиграф «Мне отмщение, и Аз воздам». Эти слова (правда, в романе они цитируются без отсылки на первоисточник) писатель взял из Евангельского послания Апостола Павла к римлянам, где было сказано: **«Не себе отмщаяще, возлюбленнии, но дадите место гневу [Божиию]. Писано бо есть: Мне отмщение, Аз воздам, глаголет Господь» (Рим. 12, 19).** В них содержалась истина, очень важная для каждого христианина: и в этой жизни, и в жизни иной сбывается нравственный закон Бога, человек неизбежно получает воздаяние по делам своим; не дело простого смертного самому вершить суд, брать на себя то, что принадлежит одному Творцу.

Евангельские слова задавали изначально высокую меру всему происходящему в романе. Одновременно они сразу обращали читателя к сокровенному смыслу произведения, словно предупреждая: здесь пойдет речь о самом главном, о жизни праведной и грешной, о пути, который ведет человека к «доброму ответу на Страшном Суде», и другом пути, «вопиющем к Небу об отмщении». Кроме того, эпиграф недвусмысленно обозначил позицию, занятую художником по отношению к показанным на страницах романа событиям и людям.

Трудно найти другое произведение Толстого, где все действующие лица вызывали бы у нас такое постоянное, ровное сочувствие, а то и самое теплое расположение, как персонажи «Анны Карениной» (исключение тут составляют разве что многочисленные завсегдатаи светских салонов). Эти, как все живущие на земле, грешные, порою даже очень грешные люди словно не подлежали авторскому суду.

Толстой хотел, чтобы читатели смотрели на его персонажей под тем же углом зрения. И в самом деле, мы, даже хорошо сознавая (а то и не сознавая, в зависимости от наших убеждений) преступность выбора, сделанного главной героиней, всей душой переживаем вместе с ней разразившуюся драму. Мы сочувствуем в его беде обманутому мужу Алексею Александровичу Каренину (ну и что же, что он человек, лишенный живой теплоты и непосредственности!). Нас не может не покорять прямоотой, благородством своей натуры Алексей Вронский (хоть он-то и есть причина стольких несчастий). Нам постоянно и глубоко (правда, порой мы теряемся перед внутренним миром этого героя) симпатичен Константин Левин с его трогательной наивностью. Мы страдаем вместе с Дарьей Александровной Облонской, вечно одолевающей житейские невзгоды, и радуемся ее домашним радостям. Но что всего поразительнее: нам от души приятен муж Долли и брат Анны, ветреный и, как ни смотри, безнравственный Стива. Никуда не денешься: это один из наиболее обаятельных персонажей русской литературы. Кажется, и самому Толстому (нечто невозможное в «Войне и мире» или «Воскресении»)

доставляли особое удовольствие многие страницы, на которых появлялся Облонский. Сказанное вовсе не означает, что каждый из них не был подсуден Высшему Суду. Но то именно Высший Суд, а никак не суд человеческий!

Подобное отношение к действующим лицам «Анны Карениной» далось Толстому далеко не сразу. Первоначальные наброски романа выдают резко пристрастный взгляд писателя на своих героев. Особенно это касалось образа главной героини. Чего стоит в этом смысле хотя бы один из ранних вариантов названия романа: «Молодец-баба»! Симпатии автора были в то время исключительно на стороне обманутого мужа, Михаила Ставровича, мягкого, добродушного человека. Правда, уже тогда Толстой не высказывал открыто свое отношение к персонажам, но пытался передать его через многочисленные детали в их обрисовке. Тем не менее поэтическая высота, которую набрал писатель, изначально заданный «пушкинский» строй произведения прямо относили Толстого к высшим критериям добра и зла, заставляли (если не во всем, то во многом) решительно преодолевать собственные пристрастия.

Нравственный поиск с молодых лет оказался главной «движущей силой» его жизни и творчества. Долгие годы Толстой видел свое призвание в том, чтобы «нести миру» неотделимые от собственной веры понятия о добре и зле. Единственной мерой хорошего и дурного служили для него сиюминутное переживание, эмоция, рефлекс. Нравственная жизнь, по убеждению писателя, протекала только в этой конкретной, «чувствительной» сфере бытия. Иногда такие понятия внешне походили на христианские, все же в конечном счете имея своим началом самовластную личность художника. Чем ближе к концу жизни, тем более нетерпим становился Толстой ко всему, что казалось ему безнравственным; таковым стало для него все цивилизованное, притесняющее «святыню чувства» жизненное устройство. А в период создания «Анны Карениной» (может быть, только на страницах романа) писатель всем существом ощутил иную, неизмеримо большую, чем его собственные воззрения, меру человеческих помыслов и деяний. Мирный дух то владел им вполне, то отлетал ненадолго, но лишь затем, чтобы вскоре вернуться в новых и новых прекрасных описаниях.

Между тем появление в печати очередных частей романа наряду с восторженными оценками вызывало у публики также известное недоумение. Н. Н. Страхов, находясь в Петербурге, знакомил Толстого с последними откликами на его произведение, не скрывая от писателя всей «палитры» высказанных суждений. «...Находятся скептики и серьезные люди, — сообщал он, — которые недоумевают и угрюмо допрашивают: “да что же тут важного, особенного? Все самое обыкновенное. Тут описывается любовь, бал — то, что тысячу раз описано. И никакой идеи!” Тот же Страхов (пожалуй, он как никто другой был восприимчив к художественным достоинствам «Анны Карениной»), указывая Толстому, по просьбе самого художника, чего, на его взгляд, недостает в романе, отмечал некоторую «холодность писания», отсутствие после каждой сцены хотя бы нескольких «пояснительных или размышляющих слов».

И действительно, в «Анне Карениной» нет какой-то исключительной, «от себя» утверждаемой автором художественной мысли. Совсем не так, как это было с «Войной и миром», когда Толстой говорил: «Я верю в то, что я открыл новую истину». А здесь на первый взгляд весь конфликт укладывался в отношения «треугольника» Вронский — Анна — Каренин. Какую же всеобщую идею могла утверждать эта трагическая в духе времени и все-таки частная история? Находились критики, которые называли «Анну Каренину» великосветским романом, и только.

Сам Толстой тем не менее знал и чувствовал, что он и на этот раз создает нечто глубоко значительное, только значительное совсем по-иному, чем это было прежде. «Во всем, почти во всем, что я писал, — говорил он, — мною руководила потребность собирания мыслей, сцепленных между собой, для выражения себя, но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна из того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью (я думаю), а чем-то другим, и выразить основу этого

сцепления непосредственно словами никак нельзя; а можно только посредственно – словами описывая образы, действия, положения».

«Основой сцепления», которую художник не решался определить словами, конечно, оказалась великая поэзия романа. С первых же дней работы над ним Толстой словно не во всем принадлежал себе, но улавливал божественные лучи, разлитые повсюду, созерцая в этих лучах светлые и темные стороны реального мира. Иногда эти лучи проходили сквозь наплывавшую из прошлого завесу религиозной философии писателя. Но все же завеса была непрочна, а божественный свет слишком силен, чтобы его могла остановить какая бы то ни было преграда. Сменялись картины одна живописнее другой, и в этих-то картинах, нигде не названная прямо, жила, пульсировала простая и всеохватная идея современного романа Толстого: о красоте Творца и Его творения, ужасе отступничества, о вечной борьбе мировых начал, о выборе между ними, который надлежит делать на земле каждому человеку.

Однажды писатель, правда, высказал и более определенно главную мысль своего произведения. На первый взгляд она была самой обыкновенной. «В “Анне Карениной”, – как-то признался Толстой своей жене Софье Андреевне, – я люблю мысль *семейную*, в “Войне и мире” любил мысль *народную*, вследствие войны 12-го года...». Главным, исключительным предметом изображения в новом романе действительно стали семейные отношения, все остальное, о чем говорил писатель, так или иначе отзывалось именно в этой домашней области человеческой жизни.

На страницах книги о прошлом картины русского семейного уклада тоже играли первостепенную, определяющую роль. «Мысль народная» никогда не существовала у Толстого отдельно от «мысли семейной». И в «Войне и мире» и в «Анне Карениной» семья понималась как некая божественная сфера бытия, в которой начинается земная жизнь и наиболее полно сбываются данные человеку нравственные законы. Но все же по сравнению с великим эпическим романом 1860-х годов «мысль семейная» теперь звучала у писателя по-другому. И дело не только в том, что он обратился к теме семейного разлада, «случайной», едва намеченной в «Войне и мире». Новая книга всем своим поэтическим строем утверждала *иное божественное*.

Вероятно, сам Толстой, приступая к работе над «Анной Карениной», имел в виду утвердить нечто уже хорошо знакомое по его предыдущему роману: безличное божество природы, связанную с ним полноту эмоциональной жизни. Разрушение семьи должно было означать в этом случае полное помрачение, осквернение эмоций – надругательство над самим божеством. Точно так же создание семьи выглядело как прояснение, очищение дорогого писателю, некогда самовольно им найденного «чувствительного» начала вселенной. Однако новый творческий путь едва ли не в каждом описании романа уводил Толстого далеко от этих привычных ему «исходных посылок». «Мысль семейная» получила теперь иную, более высокую меру. Все непосредственное, чувствительное, чем так богата человеческая жизнь, при этом не утратило своего значения, просто заняло истинное место, отведенное ему в мироздании.

«Война и мир», большинство других произведений писателя по глубинной сути своей не допускали ничего мистического. Их герои либо утверждали основы естественной жизни, либо покорялись «нечувственному», цивилизованному мировому началу. Многим из них предстояло выбирать между тем и другим. «Анна Каренина» – единственное (за исключением, может быть, позднейшей, неоконченной повести «Дьявол») произведение Толстого, где в судьбах персонажей прямо участвуют противоборствующие духовные силы. Их присутствие постоянно ощутимо в романе, оно создает на страницах «Анны Карениной» незримое поле напряжения, освещает все происходящее особым, нематериальным светом. Если это и была, с точки зрения Толстого, борьба естественной жизни и цивилизации, то она все равно осложнилась каким-то прежде неизвестным писателю измерением вещей. В действительности, как бы ни смотрел на нее художник, он все равно говорил о предрешенной в ее исходе (ибо никто не может похитить

у Творца Его творение) схватке между Богом и дьяволом. Выбор, который делали персонажи «Анны Карениной», неожиданно правдиво отражал духовную реальность грешного мира.

* * *

С точки зрения сегодняшнего читателя сюжетная основа толстовского романа – трагедия неверной жены – может показаться преувеличенной или уж, во всяком случае, принадлежащей далекому от нас «консервативному» веку (впрочем, некоторые современники писателя тоже находили сюжет романа излишне драматизированным). Кого удивит в наши дни разрушенная семья? Зачем сохранять ее, если пришла другая любовь или просто семейные узы стали невыносимо трудны (как принято нынче говорить: не сошлись характерами)? Право на «исправление ошибки» повсеместно признается в быту. Люди сходятся, расходятся – и продолжают жить, залечивая раны. Конечно, Церковь, как тогда, так и теперь, осуждает разводы. Не одобряет их и едва уцелевшая, а все-таки живая моральная традиция нашего народа. Сама душа человеческая, если она не омертвела до конца, невольно противится расторжению брака. Но часто ли мы встретим людей, готовых жертвовать собственной прихотью во имя нравственного долга, тем более, когда речь идет о делах сердечных, столь мощно увлекающих любого из нас? Безусловно, найдутся и такие. И все же многие решительные, а то и отчаявшиеся натуры предпочтут безоглядно предаться собственным страстям...

Главная героиня романа после долгих лет благополучной, но унылой и монотонной семейной жизни с государственным человеком Алексеем Александровичем Карениным (впрочем, разве была унылой, монотонной привязанность Анны к ее сыну Сереже?) повстречала другого Алексея, казалось, предназначенного ей судьбой блестящего гвардейского офицера Вронского. Отношения с ним постепенно стали главным смыслом ее существования, потребовали отречения от мужа, от положения в обществе, даже от собственного ребенка (Алексей Александрович отказался дать жене развод и настоял, чтобы их общий сын оставался с ним). А в итоге вышло, что сметающее все на своем пути сильное чувство не спасает человека, а толкает его к пропасти.

Может быть, Толстой и в самом деле слишком жестоко поступил со своей героиней, сам, по собственной воле, поставил ее в безвыходное положение? Почему бы оскорбленному Каренину в конечном итоге не согласиться на развод (его предшественник так и поступал в черновиках романа), не отдать матери любимого сына? Разве все это не находилось целиком во власти автора? Тем не менее в поступках каждого из персонажей «Анны Карениной» была своя логика, порожденная внутренней связью событий, описанных в романе. Находясь в русле пушкинской традиции, Толстой не выстраивал мир в согласии со своими представлениями, а чутко улавливал его действительные законы. Катастрофа неверной жены вырастала из самой духовной природы ее чувства. Даже и те обстоятельства, что ускорили ужасный конец героини (разумеется, в других случаях, с другими действующими лицами они могли сложиться иначе) оказались порождены этим неестественным, губительным духом.

Чувство, незримо соединившее Анну и Вронского уже в момент самой первой их встречи посреди вокзальной суеты (Анна приехала из Петербурга в Москву, чтобы уладить семейные отношения своего брата Степана Аркадьича и его жены Долли) таило в себе нечто угрожающее. Чем больше захватывало оно обоих героев, тем больше обнаруживалась его преступная суть.

Супружеская измена – всегда преступление, какое бы оправдание ни искал для себя преступник. Преступление перед другим человеком, перед собой, перед Богом, который связал людей семейными узами. Но разве менее преступно прелюбодеяние с чужой женой или мужем? В том и другом случае редко кому удастся полностью заглушить в себе голос раскаяния. Человек не животное – любую чувственную связь между мужчиной и женщиной, если она не освящена браком (тем более если она оскорбляет брак уже существующий), сопровождают нрав-

ственные страдания. Здесь оживает неистребимая у земного человека память первородного греха, совершенного праотцами Адамом и Евой. Только в семье эти греховные по природе своей отношения становятся чистыми, благословенными.

Толстой на страницах «Анны Карениной» не был писателем-моралистом или оставался таковым лишь отчасти. В основном он предпочитал показывать то, что есть, поэтически раскрывая внутреннюю закономерность мировых явлений. В этом и состояло все поучение романа. Пожалуй, у художника не найти больше произведения, где хотя бы в малой степени передавалась так правдиво и тонко вся «диалектика страсти». И читатель вместе с Анной и Вронским испытывал головокружительную радость обновления жизни, «проходил» через бесчисленные волнения и тревоги разгорающегося чувства, погружался во все подробности происходящей на глазах у света, щекочущей нервы «любобной игры», чтобы лишь затем вместе с персонажами романа воочию увидеть катастрофическую суть происходящего.

Говоря о падении своей героини (с подлинным художественным целомудрием он показал Анну и Вронского в момент, наступивший сразу после падения), Толстой описал то, что только и могли теперь испытывать любовники: «Она чувствовала себя столь преступною и виноватою, что ей оставалось только унижаться и просить прощения; а в жизни теперь, кроме его, у ней никого не было, так что она и к нему обращала свою мольбу о прощении. <...> Он же чувствовал то, что должен чувствовать убийца, когда видит тело, лишенное им жизни». Все смешалось отныне в судьбах героев: убийца ли, жертва – они ощутили себя сообщниками в одном черном деле. И разорвать эту преступную связь им самим представлялось уже невозможным.

Чувство, так ярко вспыхнувшее вначале, оказалось на поверку мучительным и гнетущим. Печать греховности изначально тяготела над ним. Пройдя через надрывающие душу испытания, соединившись наконец, герои не были счастливы, не знали, что им делать дальше. Выяснялось, что их любовь – это мрачная, тяжелая любовь (так было сказано однажды в романе), что она не примиряет человека с миром, а уводит от мира в замкнутое пространство сугубо личных переживаний. Эту мертвенность совместной жизни двух любовников (сегодня сказали бы – гражданских мужа и жены) прекрасно ощутила нравственно чуткая мать семейства Долли Облонская, когда навестила свою золовку в богатом и процветающем имении Вронского. И дело тут было не только в полном отлучении, которому подверглась Анна со стороны светского общества, ее отныне бесправном положении...

Страсть не имеет никакой другой цели, кроме собственного удовлетворения. Она не требует семьи, не требует повседневного созидательного труда. Анна и Вронский не задумывались над тем, что может возникнуть из их отношений, – просто служили, как единственному кумиру, захватившему обоих чувству. Даже в то недолгое время, когда Алексей Александрович соглашался дать неверной жене развод, героиня сама пренебрегла этим «соблюдением условностей». Она хотела уйти от надоевшего мужа, но не стремилась создавать новую семью. Ей действительно было все равно, как принадлежать Вронскому (а точнее, как обладать им): в семье или без семьи. Вопрос о разводе поднял со временем сам Вронский, ощутивший всю безысходность их положения, но поднял слишком поздно.

Начиная с момента своего зарождения чувство, соединившее Анну и Вронского, было глубоко эгоистичным. Собственно, уже начало этой связи оказалось «оплачено» разбитыми надеждами влюбленной в молодого офицера княжны Кити Щербацкой (Вронский, не желая ничего дурного, до встречи с Анной просто ради собственного удовольствия постарался увлечь молодую девушку). Обостренное видение влюбленного человека первой открыло Кити ужасный для нее интригующий «разговор без слов», который происходил на балу между Вронским и совсем недавно столь милой ее сердцу Анной. Кити (она только что, доверяя Вронскому, отказала приезжавшему просить ее руки Константину Левину) пережила в этот момент настоящее потрясение. Что и говорить о тех драмах, которые ожидали Алексея Александровича Каренина, его и Анны сына, маленького Сережу!

Но и во взаимных отношениях Анны и Вронского тоже, как выяснялось по ходу романа, господствовал жадный, ничем не утолимый эгоизм. Живые, искренние люди, казалось, они готовы были жертвовать всем друг для друга. Тем не менее даже чувство долга, даже взаимные обязательства, столь священные в супружестве, искажались темной природой тех отношений, что соединили этих двоих. И благородство, проявленное Вронским (он отказался ради своей возлюбленной от предназначенной ему блестящей карьеры, от многолетнего легкого и приятного образа жизни), и жертвенность Анны неизбежно получали здесь новую цену. В конечном итоге каждый из них приносил жертву себе, собственной страсти, направленной на другого, и тем только вернее губил предмет своего увлечения. Прежде открытый, сердечный, солнечный человек, Анна жила отныне только мрачной заботой о том, как сохранить власть над своим избранником. Насколько любила она до этого Сережу, рожденного в «монотонном», «стеснительном» браке с Карениным, настолько же равнодушной была теперь к дочери, родившейся от «свободной» связи с Вронским. Муки необоснованной ревности, стремление нравиться всем и каждому, чтобы «растопить» наступавшее охлаждение своего любовника, вечное беспокойство, заглушаемое только морфием (это наркотическое средство далеко не все врачи признавали в то время смертельно опасным) – таким оказался итог некогда чарующего, всему вопреки радостного чувства.

Проводя Анну и Вронского через лабиринты преступной страсти, вскрывая в неистощимо ярких «внутренних картинах» обреченность выбора, сделанного героями, Толстой между тем просто не мог ограничиться в новом произведении традиционным для него (хотя и всегда неповторимо богатым) психологическим исследованием жизни. «Разгадка поэзией» предполагала также другое измерение, другой отсчет в поступках действующих лиц. Всеохватное по своей сути пушкинское начало романа неизбежно касалось глубинных истоков любого явления, о чем бы ни говорил художник. В случае с Анной и ее возлюбленным эти истоки выглядели поистине пугающими. Картина получалась тем более ужасной, что все происходило прямо здесь, в действительном, привычном мире, показанном в полную силу толстовского реализма. Но реализм писателя в «Анне Карениной» – это, прежде всего, духовный реализм.

Уже в одной из ранних редакций романа Толстой кратко и ясно определил главную «пружину» в поведении неверной жены: «Это был дьявол, который овладевал ее душою. И никакие средства не могли разбить этого настроения». Очень важные в романе наблюдения потрясенной Кити за Анной на балу и началом разгоравшейся страсти между ней и Вронским, прямо продолжали эту раннюю характеристику: «Она была прелестна в своем простом черном платье, прелестны были ее полные руки с браслетами, прелестна твердая шея с ниткой жемчуга, прелестны выющиеся волосы расстроившейся прически, прелестны грациозные легкие движения маленьких ног и рук, прелестно это красивое лицо в своем оживлении; но было что-то ужасное и жестокое в ее прелести». И вслед за этим юная княжна определяла нечто самое главное: «Да, что-то чуждое, бесовское и прелестное есть в ней», – сказала себе Кити». Не то же ли самое впечатление, произведенное вдруг изменившейся героиней (давно замечено, что дети лучше взрослых умеют улавливать духовную природу вещей) заставило сторониться «тети» еще недавно искренне к ней привязавшихся детей в семействе Облонских?

На страницах «Анны Карениной» дьявол – не речевая фигура, не метафора, а совершенно реальная сила, которая борется с Богом за живую человеческую душу. Правда, художник с подлинно христианским тактом и чувством меры все-таки предпочитал не называть эту силу прямо. Но, пожалуй, не было в романе таких описаний, связанных с «карекинским» сюжетом, где Толстой не давал бы читателю явственно ощутить ее присутствие. Слово «прелесть», многократно повторенное художником для изображения Анны на балу, могло употребляться Толстым в разном значении (прежде, в «Войне и мире», оно постоянно служило обозначению «божественной», как понимал ее писатель, красоты и привлекательности мира). Но примени-

тельно к центральной героине новой книги слово это, как правило, начинало звучать в его изначальном, отеческом смысле: высшая степень оболыщения, искушения, соблазна.

Все, что происходило между Анной и Вронским, было отмечено в романе постоянным присутствием нечеловеческой, губительной, и одновременно влекущей, заманчивой силы. Она вызывала у героев кричащее душевное напряжение (Анне казалось, что в ней вот-вот готова лопнуть туго натянутая струна), без слов сообщало одному мысли другого, приводило к необъяснимому с материалистической точки зрения «параллелизму сновидений».

Одна из самых знаменитых, даже хрестоматийных сцен романа. Анна, уже увлеченная Вронским, по дороге из Москвы после часов, полных лихорадочного волнения, грез, разорванных мыслей, выходит ночью из жаркого вагона на платформу станции Бологое между Москвой и Петербургом. Страшная снежная буря бушует вокруг. Вронский должен оставаться в Москве, но вот он появляется из метели. «Ей не нужно было спрашивать, зачем он тут. Она знала это так же верно, как если б он сказал ей, что он тут для того, чтобы быть там, где она», – говорится в романе. И немедленно на заданный вопрос Анна слышит желанный ответ: «– Зачем я еду? – повторил он, глядя ей прямо в глаза. – Вы знаете, я еду для того, чтобы быть там, где вы... я не могу иначе». Редкое по своей музыкальности поэтическое описание немедленно оттеняет прелестный смысл состоявшегося обмена репликами: «Ив это же время, как бы одолев препятствия, ветер засыпал снег с крыши вагона, затрепал каким-то железным оторванным листом, и впереди плачевно и мрачно заревел густой свисток паровоза. Весь ужас метели показался ей еще более прекрасен теперь».

Вот Вронский увидел во сне: знакомый ему по недавней охоте мужик, но только «маленький, грязный, со взъерошенной бородкой» что-то делает нагнувшись и при этом говорит по-французски. На следующий день Анна (она ожидала в это время их общего с Вронским ребенка) рассказывает Вронскому испугавший ее сон о маленьком взъерошенном мужике, который «копошился» над мешком, и даже повторяет жуткую в своей нелепости французскую фразу, произнесенную этим мужиком: «Il faut le battre le fer, le broyer, le pétrir (Надо ковать железо, толочь его, мять...)». «И Вронский, – говорит писатель, – вспоминая свой сон, чувствовал такой же ужас, наполнявший его душу».

Ужасная, всепогружающая сила, которая подчинила себе душевный мир героев (а впрочем, Анна на первых порах все-таки пыталась безуспешно противиться ее воздействию), не только вела любовников дальше и дальше навстречу жизненному тупику, она заставляла их искать себе оправдание, «переворачивать» в собственную пользу любые свои поступки, влекущие за собой несчастье других людей. Анна по возвращении в Петербург была впервые поражена вдруг открывшейся ей непритязательной внешностью мужа (он встречал жену у поезда). Позднее она всячески поддерживала в себе представление о ничтожестве этой «министерской машины», как называла порой Алексея Александровича. Прежде открытый человек, она научилась лгать.

Ощущая угрозу, которая нависла над его домом, Алексей Александрович попытался однажды вызвать жену на откровенный разговор, искренне ее предостеречь: «Жизнь наша связана, и связана не людьми, а Богом. Разорвать эту связь может только преступление, и преступление этого рода влечет за собой тяжелую кару». Должно быть, он сказал не те слова, которые доходят до сердца, и сказал их совсем не так. Но в этот момент уже ничто, кажется, не могло поколебать Анну в ее готовности обманывать мужа: «Оначувствовала себя одетою в непроницаемую броню лжи. Она чувствовала, что какая-то невидимая сила помогала ей и поддерживала ее». Сам отец лжи, разрушения, ненависти руководил делами героини, пробуждал в ней знакомое миру со времен праматери Евы темное женское начало, чтобы тем вернее погубить ее душу. Не случайно именно после рассказа о несостоявшемся объяснении с Карениным появились в романе так потрясавшие уже первых его читателей страшные поэтические

слова: «Она долго лежала неподвижно с открытыми глазами, блеск которых, ей казалось, она сама в темноте видела».

Вероятно, история Анны и Вронского не обязательно должна была закончиться самоубийством героини. Сколько таких историй уже во времена Толстого имели менее драматичный исход! Но писатель все же показывал преступное чувство (так было задумано с самого начала) в его абсолютном, законченном виде, изучал «анатомию страсти» на примере, можно сказать, идеальном. Самоубийство нравственное неизбежно должно было в этом случае повлечь за собой самоубийство физическое. Толстой не властен был изменить что бы то ни было, не нарушая внутреннюю природу вещей. На страницах «Анны Карениной» Вронский тоже однажды пытался покончить с собой (он, мужчина, вообще быстрее прошел свой преступный путь, так что дальнейшая жизнь с Анной во многих отношениях действительно стала для него простой неизбежностью, тягостной расплатой за содеянное). Художник сам рассказал о появлении в романе сцены несостоявшегося (Вронский остался жив) самоубийства этого героя: «Глава о том, как Вр[онский] принял свою роль после свидания с мужем, была у меня давно написана. Я стал поправлять ее и совершенно для меня неожиданно, но несомненно, Вр[онский] стал стреляться. Теперь же для дальнейшего оказывается, что это было органически необходимо».

Описание героини романа накануне ее самоубийства – единственная в своем роде вершина психологического искусства Толстого. Позднее он показывал переживания убийцы своей жены Позднышева («Крейцерова соната»), смятение поставленного на край жизни и смерти, не властного избавиться от губительных женских чар Евгения Иртенева («Дьявол»). И все же рассказ о последних часах Анны Карениной не имеет себе равных среди толстовских «погружений» в тайны помраченного сознания. Этот почти бесконечный внутренний монолог (точнее, сменяющие один другой лихорадочные монологи), эти проплывающие перед глазами героини картины внешнего мира, которые «мутятся» раздраженными чувствами и болезненным ходом мыслей, неподражаемо точно, в бесчисленных подробностях передавали состояние отчаянной, погибающей души.

Во всем, что испытывала Анна, еще сама не зная, куда и зачем направляется она по Москве, не таясь обнаруживало себя, торжествовало некогда столь манящее демоническое начало. Это оно открывало героине без прикрас всю преступную ее, Анны, и Вронского историю. И оно же внушало отвращение к себе самой, к десяткам промелькнувших перед Анной людей, ко всему миру. Циничный, безжалостный голос разрушал в ее сердце последние нравственные опоры, убеждал в безобразии, жестокости и бессмысленности самой жизни вокруг: «Да, нищая с ребенком. Она думает, что жалко ее. Разве все мы не брошены на свет затем только, чтобы ненавидеть друг друга и потому мучать себя и других?» Располагаясь в поезде (она думала застать Вронского в подмосковной деревне у его матери), Анна наблюдала супружескую чету напротив себя. «И муж и жена, – говорилось в романе, – казались отвратительны Анне.<...> Анна ясно видела, как они надоели друг другу и как ненавидят друг друга. И нельзя было не ненавидеть таких жалких уродов». Но этот же голос терзал саму героиню, делал ее присутствие в мире невыносимо ужасным, толкал навстречу последнему шагу: «Нет, я не дам тебе мучать себя», – подумала она, обращаясь... к тому, кто заставлял ее мучаться, и пошла по платформе мимо станции».

Пожалуй, не только у Толстого, но и во всей мировой литературе невозможно найти ничего подобного этой картине крайней бесовской одержимости. Как знать, может, не одна только творческая интуиция, но и страшный опыт минувшей ночи в Арзамасе открывал теперь художнику темные состояния человеческого духа?

Русские критики иногда позволяли себе мечтать о некоем идеальном писателе, соединившем вместе наиболее яркие особенности в искусстве двух великих современников: психологическое мастерство Толстого и остроту духовного видения Достоевского. Созданные Тол-

стым в эпоху безграничной творческой свободы сцены романа, посвященные самоубийству героини, безусловно, приближались к подобному идеалу. Не случайно Достоевский был так потрясен этими картинами: он словно угадывал тут нечто родственное своим романам, только перенесенное в иную сферу «чувствительно» осязаемых, полностью укорененных в реальном, земном времени и пространстве художественных описаний.

Оставалась ли у героини Толстого возможность повернуть назад в решающую минуту? Ведь мы хорошо знаем, что писателю с первых дней работы над романом было ясно, чем кончится дело. Но, художник-реалист, он все же до последнего мгновения не лишал Анну свободы выбора. Правда, выбор давно уже состоялся. Тем не менее, пока Анна жила на свете, он не мог считаться окончательным. Иначе это был бы языческий фатум, рок, а «роман широкого дыхания» открывал именно христианские истины о мире и человеке.

Среди жестоких, убийственных мыслей, которые терзали героиню незадолго до ее отчаянного шага, внезапно, как светлое пятно, выплывало воспоминание о далекой, еще в юности, поездке в Троице-Сергиеву лавру, правда, кажется, лишь затем, чтобы Анна острее ощутила весь ужас нынешнего своего положения. Потом, проезжая по городу, она слышала звон колоколов московских церквей. Но вражеский голос тотчас же начинал твердить свое: «Зачем эти церкви, этот звон и эта ложь? Только для того, чтобы скрыть, что мы все ненавидим друг друга...» И вот у самого края пропасти, возле идущего мимо состава, борьба за ее душу вспыхивала в последний раз. Бесконечно любящий каждое свое создание (разве можно прочесть иначе сказанное Толстым?) Господь посылал героине последнюю надежду. Решаясь на страшный шаг, Анна перекрестилась. «Привычный жест крестного знамения вызвал в душе ее целый ряд девичьих и детских воспоминаний, и вдруг мрак, покрывавший для нее все, разорвался, и жизнь предстала ей на мгновение со всеми ее светлыми прошедшими радостями». Анна не смогла вернуться. Слишком многое мешало этому.

* * *

Героиня романа, конечно, была ответственна за свою судьбу, за судьбы других людей: мужа Алексея Александровича, сына Сережи, даже в какой-то мере Алексея Вронского. Ее жизненный путь оказался настолько драматичным, так больно отозвался в жизни окружающих именно вследствие свободно сделанного выбора.

Тем не менее, «проживая» вместе с Анной историю губительной страсти, мы невольно ловим себя на том, что героиня – не только отступница от божеских законов, она еще и жертва того нравственного хаоса, которым охвачен весь мир вокруг нее. Собственно, «большой» роман Толстого и раскрывал в поэтических образах и картинах этот поразивший русское образованное общество духовный недуг, а «малый» роман – история неверной жены – являлся вопиющим, заостренным его выражением. Возможность сохранить себя, удержаться на праведном пути существовала для Анны, как существует она для всякого человека. И все же властвующий над героями романа порядок (а точнее, беспорядок) вещей весь дышал катастрофой, предлагал катастрофу как наиболее естественное в его пределах направление развития.

Семейная жизнь Карениных оказалась поставлена под угрозу не только своевольным порывом героини. Подобно всякому союзу, заключенному пред Богом, брак Анны и Алексея Александровича, без сомнения, был союзом священным, спасительным. И все-таки это семейство так и не стало вполне живым и полнокровным. Не случайно Долли Облонская – «нравственный барометр» во всем, что говорилось на страницах романа о семейной жизни, вспоминала, как не понравился ей петербургский дом Карениных, когда она гостила у своей золовки: «что-то было фальшивое во всем складе их семейного быта».

Однажды в романе, незадолго до его трагической развязки, Толстой, словно между делом, расскажет «обыкновенную историю» женитьбы Алексея Александровича. И мы узнаем,

как во время его губернаторства в провинции тетка героини искусно свела важного чиновника со своей воспитанницей, а потом поставила Каренина перед выбором: или жениться на девушке, которую он скомпрометировал, или во избежание скандала уехать из города. Так для Анны была найдена и составила «блестящая партия».

Разве не оскорблялось тут изначально, не омрачалось человеческой хитростью и корыстью великое таинство брака? Что же из того, что многие семейства в России создавались подобным образом, что на первый взгляд выглядели они счастливыми, а в ином случае (хочется верить) и были таковыми? Людям все равно приходилось годами залечивать «родовую травму», тяготевшую над их союзом. Впрочем, губернатор Каренин, похоже, ничего не имел против такой женитьбы. С молодых лет вовлеченный в «механическую» сферу государственной жизни, он имел такие же «механические» представления о браке, а саму Анну, вероятно, в то время никто ни о чем и не спрашивал.

Служебная деятельность Алексея Александровича, как то и бывает обыкновенно, оказалась важнейшим обстоятельством, сформировавшим семейный уклад Карениных. «Роман широкого дыхания», пожалуй, впервые в мировой литературе столь последовательно обнаруживал эту повседневную, нерасторжимую связь частного и общественного в жизни человека. «Каренинский» сюжет выглядел в этом смысле особенно показательным. Но здесь Толстой, помимо всего прочего, не мог не отдать известную дань привычным для него, хотя и неустойчивым на протяжении 1870-х годов понятиям о естественной жизни и цивилизации, о божественном непринужденном и враждебном ему оформленном мировых началах.

Уже на страницах «Войны и мира» государство и государственные люди представляли собой своеобразный «полюс небытия». В романе «Воскресение» Толстой прямо восстал против этого, как говорил он тогда, «вредного насильнического образования», против его слуг. «Анна Каренина» подчинялась иным художественным законам. Тем не менее писатель и на этот раз, где-то с мягкой иронией, а где-то и с подлинным состраданием к «людям государства», говорил о бессмысленной, по его мнению, области человеческих интересов и занятий.

Иная по сравнению с двумя другими толстовскими романами тональность «Анны Карениной» вполне естественно делала на ее страницах картины государственной жизни более объемными, уравновешенными. Однако существо дела от этого не менялось. Кажется, что может быть важнее для России разумного, взвешенного устройства национальных отношений? Вопрос о плодородии сельскохозяйственных земель тоже всегда оставался у нас далеко не последним. Но два главных проекта, которые занимали на службе Алексея Александровича (его пост не назван в романе, хотя ясно, что Каренин – один из видных сановников империи), – дело об устройстве инородцев и дело орошения полей Зарайской губернии – представляли у Толстого всего лишь многолетними блужданиями отвлеченной, «бумажной» мысли, никак не связанными с реальностью. Да и само объединение этих столь непохожих, совершенно разных по своему значению проблем в ведении одного человека не столько раскрывало масштаб его интересов и забот, сколько подчеркивало их безжизненность.

Видные государственные посты в России XIX века занимали, как правило, люди крупного калибра, деятельные и дальновидные. На фоне этих реальных фигур отечественной истории Каренин при всей его психологической достоверности все-таки выглядел мелковатым. У Толстого иначе и быть не могло: мелкой, несущественной по-прежнему виделась писателю сама государственная деятельность. «Всю жизнь свою, – говорилось в романе, – Алексей Александрович прожил и проработал в сферах служебных, имеющих дело с отражениями жизни. И каждый раз, когда он сталкивался с самою жизнью, он отстранялся от нее».

Как же могли сложиться отношения Алексея Александровича с молодой женой в той области бытия, где требуется жить не по формуле, а по уму и по чувству? Сам того не замечая, Каренин привносил в собственную семью атмосферу служебной натянутости, имея твердые, правильные понятия о хорошем и дурном, становился беспомощным там, где нужно было про-

сто действовать в согласии с этими понятиями. Он не умел наполнить семейную форму живым человеческим содержанием. В этом не было его вины, но он сам вел дело к тому, чтобы так или иначе потерять семью.

Нечто подобное, как можно заключить из романа, происходило и в жизни многих сослуживцев Каренина. Когда, ошеломленный изменой жены, он начинал вспоминать тех, кого постигло такое же несчастье, то без труда находил примеры из недавнего прошлого. «Дарьялов, Полтавский, князь Карибанов, граф Паскудин, Драм... Да, и Драм... такой честный, дельный человек... Семенов, Чагин, Сигонин, – вспоминал Алексей Александрович». Наблюдая за своим героем, Толстой, конечно, сочувствовал ему, но между тем, кажется, был не в силах скрыть и своего иронического отношения к той среде, которая сама порождает жизненные драмы, наивно полагая при этом, что она ни за что не несет ответственности.

Эта государственная, по мысли Толстого, во всем искусственная среда не только «иссушала», делала формальными семейные отношения вовлеченных в нее людей. Она имела также оборотную сторону, готовую поставить под сомнение и саму святость брачного союза, на словах признаваемого священным и незыблемым.

Жизнь петербургского света, неотделимая от жизни правительственных кругов, предлагала человеку из высшего общества многочисленные соблазны. Здесь, конечно, следили за соблюдением внешних приличий. Тем не менее двусмысленные отношения мужчины и женщины, даже супружеская измена, если она не приводила к разводу и общественному скандалу, вовсе не считались преступлением среди завсегдатаев светских салонов, скорее, наоборот, украшали в их глазах неверных мужей и в особенности неверных жен. Так жила светская приютельница Анны, княгиня Бетси Тверская, многие другие довольные собой представительницы избранного круга.

Получалось, что «отвлеченная», «нечувственная» деятельность Алексея Александровича лишила семейную жизнь героини эмоциональной силы и полноты, а петербургский свет – изнанка этой формальной сферы бытия – обратил ее живые чувства в губительное, преступное русло. Ведь это свет в лице той же княгини Бетси (падение героини, разумеется, служило для нее лучшим самооправданием) всячески поощрял отношения Анны и Вронского, жадно следил за развитием этих отношений. Он не простил Анне только одного – силы и глубины ее увлечения, готовности открыто идти навстречу своей страсти. В этом смысле героиня, конечно, была честнее, искреннее окружающих ее фальшивых, вечно готовых к лицемерию светских людей. Но там, где она увидела выход из «эмоционального плена», в действительности открывалась дорога к полному душевному помрачению, окончательному жизненному тупику. При всем различии своего положения два Алексея – муж и любовник – играли по отношению к Анне в чем-то похожие роли. Первый из них невольно подготовил почву для будущей катастрофы, в то время как второй оказался ее непосредственным орудием. Все совершилось по законам нравственно опустошенного, перевернутого мира.

И все-таки выбор оставался за Анной. Семейная жизнь Карениных не была такой уж беспросветно выхолощенной. Подобно любым домашним отношениям, она соединила двух людей тысячами едва уловимых связей. То живое, чувствительное, что есть в каждом человеке, пусть заглушенное многолетней привычкой «отвлеченной» деятельности, все-таки обнаруживало себя в отношении Алексея Александровича к жене. Ведь по-своему он любил Анну. Высший промысел тяжело и непросто, вопреки условиям среды, сбывался и в этом браке. Сын Сережа – Божие благословение заключенного союза – стал его последним, безусловным оправданием. Именно взгляд сына на все происходящее с матерью (он не в состоянии был понять, кто такой Вронский, как следует ему относиться к этому дяде), дальнейшая судьба маленького Сережи представляли в «Анне Карениной» как последняя мера совершенного героиней жизненного выбора. В Сереже находились ее опора, ее утешение, источник сил для дальнейшей жизни с неловким и сухим Алексеем Александровичем.

Среди нескольких семей, показанных в романе, только одна с первых же страниц выглядела откровенно неблагополучной. Собственно, знаменитая формула Толстого о счастливых и несчастных семействах, такая существенная для всего произведения, как раз и возникла в связи с рассказом о поставленном на грань катастрофы доме Облонских. Ветреный брат Анны, Степан Аркадьич (как не увидеть тут некую генетическую, родовую «нравственную эластичность»?), не умел и, главное, не хотел оставаться верным жене, пустил на самотек хозяйственные дела, безоглядно проматывал уже не свое, а доставшееся ему от жены состояние. А все-таки несчастная Долли была преданной, заботливой матерью, продолжала терпеливо и с любовью нести свой крест. Внутренний бунт против собственной судьбы (именно в связи с мыслями о поступке Анны) порой поднимался и у нее в душе. Но сила нравственного долга перед детьми, даже перед их безответственным отцом накрепко привязала ее к домашнему укладу.

Разумеется, хоть неверный, но веселый и полнокровный Стива был совсем не то что холодный Алексей Александрович. Да и вообще очень многое в жизни Анны и Долли складывалось по-разному. Только до конца посвятившая себя детям измученная Долли почему-то чувствовала себя порой по-настоящему спокойной и счастливой. Анна пусть вынужденно, но отказалась от Сережи – своей единственной надежды. Да и, осуществись ее желание, останься сын вместе с ней, какое место занял бы он рядом с увлеченными страстью Анной и Вронским?

Вопрос о будущей судьбе Сережи, тем более о судьбе девочки, которую Анна родила вне брака, хотя и выходил за пределы событий, описанных в романе, имел самое прямое отношение к той «мысли семейной», что постоянно находилась в поле зрения художника.

Произведение Толстого имело одну странную на первый взгляд особенность. Кроме членов патриархальной семьи Щербацких, никто из центральных персонажей «Анны Карениной» с детских лет не знал и, как правило, не мог любить семейные отношения. Про Алексея Вронского это говорилось прямо: «Вронский никогда не знал семейной жизни. Мать его была в молодости блестящая светская женщина, имевшая во время замужества, и в особенности после, много романов, известных всему свету. Отца своего он почти не помнил и был воспитан в Пажеском корпусе». Видимо, эта невольная отчужденность от семейного начала, нравственное «нечувствие», когда преступник просто не понимает тяжести собственного поступка (Вронский без малейших сомнений соблазнял замужнюю женщину), как раз и стала причиной того, что писатель, всегда расположенный к действующим лицам «Анны Карениной», все-таки недолюбливал этого героя. Не случайно в описаниях графа Вронского настойчиво, десятки раз, упоминалась одна и та же самодовольная, даже хищная примета: его сплошные белые зубы. Не случайно и то, что писатель, показывая в последней части романа «выбитого из седла» самоубийством возлюбленной, уезжающего на войну Вронского-добровольца, «заставил» его мучиться жестокой зубной болью.

Но и другие персонажи, будь то Анна, Степан Аркадьич, Алексей Александрович Каренин, Варенька (эта «открытая душа», девушка, с которой Кити Щербацкая встретилась на водах за границей, играла в романе далеко не последнюю роль), тоже оказались обделены в детские годы семейным, домашним теплом. То же самое Константин и Николай Левины, третий из братьев, рожденный от другого отца Сергей Иванович Кознышев. Так возникала картина почти всеохватного сиротства, повального разрушения семейной традиции. Для героев исчезала сама возможность передачи опыта построения семьи. Сережа и маленькая дочь Анны становились уже вторым поколением, «отлученным» от домашнего очага.

Катастрофа семейного начала, во множестве лиц показанная на страницах «Анны Карениной», точно отразила «нравственный климат», установившийся в образованных кругах русского общества 1870-х годов. Обновленный реализм Толстого (даже если писатель находился порой во власти глубоко укоренившихся собственных философских воззрений) безошибочно «схватывал» земные, осязаемые проявления духовной угрозы, которая нависла над страной. Не

только высший свет, не только правительственные сферы – вся «просвещенная» Россия выглядела тут зараженной губительным духом смуты. Та страшная мистическая сила, что поманила, закружила, повела навстречу гибели главную героиню романа, повсеместно пронизывала у Толстого жизненную атмосферу избранных сословий. Это дьявольское начало, где вопиюще открыто, а где подспудно, вкрадчиво, постоянно напоминало о себе. Не только Анна – все были его жертвами, и все увлекали друг друга, увлекали собственных детей ему навстречу. Возникал настоящий порочный круг.

Вероятно, такой взгляд на вещи выглядел излишне мрачным, в чем-то он уже предвещал поздние толстовские «обличения цивилизации». Одновременно с этой «замутившейся» страной существовала ведь и другая, праведная Россия. Те же придворные круги, та же правительственная среда знали немало цельных, духовно устойчивых натур. Тем не менее Толстой, может быть не всегда и не везде замечая светоносные лучи в русском предгрозовом пейзаже, правдиво и честно говорил о главном. Сам находясь на духовном распутье, еще не предлагая обществу никаких «рецептов исцеления», он показывал «из глубины» великую русскую беду наступающей эпохи: безбожие, кризис веры. Поэзия романа соединяла в себе пушкинскую гармонию и пушкинскую мировую тревогу.

Демоническое, смертельное начало обрело столь могучую власть над обществом и светом, над душами героев «Анны Карениной» именно вследствие ослабления, иссякания в избранной среде праведных начал национальной жизни. Среди персонажей романа, пожалуй, только семейство князя Щербацкого оставалось твердо воцерковленным. И спасительная рука Творца действительно вела домашних старого князя через все испытания опасного времени. Как тут не вспомнить «синхронно» прозвучавшее в доме Щербацких (они ожидали на следующий день объяснения Кити и Вронского), троекратно повторенное русское «Господи помилуй!». Это родители и дочь, находясь в разных комнатах, не сговариваясь, просили помощи у Спасителя. И помощь пришла, как часто бывает, не видная сразу. Начавшийся роман Анны и Вронского все поставил на свои места. Полученная девушкой душевная рана по прошествии времени оказалась целебной, помогла избавиться от увлечения светом, подготовила ее будущий счастливый брак с Константином Левиным...

Но то Щербацкие. В остальных случаях открывалась картина самая удручающая. Откровенными нигилистами среди лиц, показанных в романе, были, пожалуй, только смолоду мятущийся Николай Левин, да еще гениальный художник Михайлов, который в Италии по просьбе Вронского написал «западающий» в душу всем, кто бы его ни увидел, портрет Анны (этот персонаж отдельными чертами напоминал «изученного» Толстым осенью 1873 года художника И. Н. Крамского). Честный Константин Левин до последней части романа тоже признавался себе и другим, что он ни во что не верит. Остальные представители образованной среды (и это было еще страшнее) либо верили «напоказ», оставаясь в глубине души полнейшими безбожниками, как легкомысленный Стива Облонский, либо искренне, как Алексей Александрович, почитали себя христианами, утратив память о самом духе отеческой веры. Иные из них, подобно графине Лидии Ивановне – светской знакомой Анны и ее мужа, были увлечены всевозможными религиозными суррогатами, иные (яркая примета времени!) занимались «вызыванием духов» – столоверчением, которое всегда подвергалось осуждению Церкви. При первом своем появлении в романе Вронский как раз и предлагал собравшимся в доме Щербацких устроить забавы ради такой вот спиритический сеанс.

Добрые, живые люди, увиденные в свете неосуждающей, «божественной» поэзии, часто, слишком часто находились вне Источника жизни и добра. Кто-то из них просто не замечал посылаемых Свыше возможностей опомниться (так это было со Степаном Аркадьичем), кто-то переживал моменты прозрения, но всем заведенным ходом вещей снова увлекался на ложные пути. Жизненный строй, послушный темному мировому началу, не отпускал человека так легко.

«Каренинский» сюжет однажды «взлетал» в романе на огромную высоту, откуда особенно ясно были видны суть и смысл всего происходящего с героями. После рождения в доме Карениных незаконного ребенка Анна заболела и находилась при смерти. Именно тогда потрясенный, измученный Алексей Александрович вдруг явил себя таким, каким никто не ожидал его увидеть. Пережитые страдания очистили, освободили в нем совсем другого человека. Все лучшее, что прежде скрывалось под сухой служебной оболочкой, что невозможно было даже предположить в этом живущем по регламенту государственном деятеле, вдруг вырвалось наружу. Обманутый муж простил Анну, принял, как своего, чужого ребенка, у постели умирающей жены примирился со своим обидчиком Вронским (тогда-то Вронский, придя домой, и попытался свести счеты с жизнью).

Этот испытанный Карениным внутренний переворот может показаться на страницах произведения даже несколько искусственным, надуманным. На самом деле Толстой знал, о чем писал. Каренин пережил христианское прозрение именно так, как может и должен его переживать человек принципа: решительно и сразу. Тут намечался действительный выход из мучительных, даже не с появлением Вронского, а много раньше, запутанных отношений. Праведный порыв Алексея Александровича (так же, как зло умножает зло, добро имеет бесконечную способность воздействовать на мир) не оставил равнодушной выздоравливающую Анну, да и Вронский, оправившись после неудачной попытки самоубийства, кажется, решил искать избавления от своей страсти, собрался ехать в Ташкент, куда давно звал его генерал Серпуховской.

Увы, никому из участников разыгравшейся драмы не дано было исцелиться. Навестивший Карениных симпатичный, обаятельный Стива, сам не ведая, что творит, сперва «как человек передовых воззрений» без труда убедил сестру окончательно оставить мужа, а потом доказал на все готовому в то время Алексею Александровичу необходимость отпустить жену навстречу ее «свободному чувству». Оставшись один, жестоко осмеянный светом, с пошатнувшимся служебным положением Каренин утешился в обществе графини Лидии Ивановны, погрузившись, как и она, в мистическое учение проповедника и «ясновидящего» шарлатана Ландо. Тот сухой, жестокий человек, каким Алексей Александрович являлся в конце романа, и близко не напоминал Каренина в период его духовного просветления.

Образ языческого Рима, который безумно сжигает себя в диких удовольствиях и суеверных культах, неоднократно и по разному поводу возникал на страницах «Анны Карениной». Даже милый князь Щербацкий, однажды повстречав новичка Константина Левина в московском дворянском клубе, задал своему зятю шуточный, но не лишенный смысла вопрос: «Ну, что? Как тебе нравится наш храм праздности?» Но особенно часто аналогия с погибающим Римом возникала в картине убийственно опасных офицерских скачек, собравших весь цвет петербургского общества. Начиная с имени «Гладиатор», которое носил конь офицера Махотина, главного соперника Вронского, и кончая кем-то сказанной фразой: «Недостает только цирка со львами», – все в этой захватывающей дух картине приводило на память смертельно больную древнюю цивилизацию.

Мир, о котором говорил Толстой, принадлежал иному времени, иной стране. Здесь каждому с молодых лет был открыт некогда воссиявший в римских катакомбах, державно утвержденный на руинах языческих капищ святым императором Константином истинный путь спасения. Но среда, показанная в романе, все дальше уклонялась от этого данного Христом, ставшего на века судьбой русского народа праведного пути. Ни Анна, ни Вронский в их беде ни разу не вспомнили о покаянии, точно так же, как забыли о нем (хоть, возможно, и бывая периодически на исповеди) все или почти все люди одного с ними круга.

Помнил ли о нем сам создатель «Анны Карениной» или все-таки под этой утраченной святыней он имел в виду свою «естественную веру», ту, что несколько лет спустя он дерзко назовет христианской? Как бы там ни было, свободный художник – Толстой середины 1870-х

годов умел сказать много больше того, что вынашивал долгие годы, с чем не мог решительно расстаться и теперь Толстой-философ. На страницах «Анны Карениной» великий поэт действительно во всем превосходил парадоксального религиозного мыслителя.

* * *

Первые читатели «Анны Карениной», критики, писавшие о произведении, нередко бывали озадачены новым и очень своеобразным его построением. Неповторимый облик толстовского шедевра, как некогда это происходило с «Евгением Онегиным» Пушкина, «Мертвыми душами» Гоголя, «Героем нашего времени» Лермонтова, трудно укладывался в сознании современников. Про «Анну Каренину» часто говорили: «Два романа в одном романе», – и в этих словах отчетливо слышался упрек писателю за «странность» его книги.

Сам Толстой не принимал подобных упреков. Напротив, он считал композицию «Анны Карениной» своей большой авторской удачей, гордился архитектурной стройностью только что законченного труда. Второй, «левинский», сюжет «участвовал» в общем развитии свободного романа так же необходимо, как и его «несущая» «каренинская» линия. История Константина Левина, возможно, вопреки первоначальным намерениям Толстого, не только составила могучий контраст повествованию о домашнем (и национальном, общественном) русском разладе, но постепенно стала важнейшим элементом «катастрофической» проблематики романа. Более того, роман не пришел к завершению со смертью его главной героини. В последней, восьмой, его части теперь уже благополучный Левин оказался единственной фигурой по-своему эпохальной, поставленной перед необходимостью духовного выбора.

Что этот герой, больше похожий на бурлака, чем на помещика, займет среди персонажей «Анны Карениной» совершенно особое место, становилось очевидно уже при первом его появлении в романе. Левин принадлежал по рождению к той же самой привилегированной русской среде, которую описывал художник. У него было общее с ней прошлое: Московский университет. Но Левин – действующее лицо произведения – определенно «выпадал» из того избранного круга, где прошли его детство и юность, куда и теперь в силу своего общественного положения он вынужден был порой возвращаться.

Его жизненный путь (и это становилось все более заметным по мере того, как «разгорался», набирал силу «каренинский» сюжет романа, возникали новые и новые картины русского духовного хаоса) выглядел у Толстого действительной, а не ложной, как то происходило в случае с Анной, попыткой разорвать порочную связь явлений, найти в этом мире твердую почву под ногами.

В духе своей среды человек неверующий, Левин тем не менее бессознательно устранился от участия в делах и развлечениях образованного общества, внутренне отторгал его. Этот занятый хозяйством «сельский житель» (с точки зрения многих своих знакомых просто «дикий помещик»), изредка навещая Первопрестольную, что бы ни происходило с ним, решительно «выламывался» из окружения: заходил ли спор по философским, социальным, экономическим вопросам, приходилось ли ему просто обедать со своим приятелем Стивой в одном из лучших ресторанов города... Он был другой: «чужак», нарушитель общепризнанных правил, наивный, как ребенок, возмутитель спокойствия.

Но почему именно Левин, тем более что он атеист, оказался способен на такое внутреннее неприятие духовно пошатнувшегося мира? И всегда ли был он прав в этом своем отторжении? Разумеется, в жизни, особенно русской, можно встретить людей, наделенных исключительным даром нравственной отзывчивости, чувствительных к любым проявлениям добра и зла (другое дело, что без руководства Церкви, вне традиции этот дар может увести человека сколь угодно далеко от своего Источника). Здесь писатель по-прежнему оставался тонким реалистом. Левин действительно представлял собой очень яркий национальный характер. Более

того его духовная неуспокоенность, подобно тому как это происходило с «чувственными» Анной и Стивой, тоже представляла в романе по-своему генетической. Известный дикими выходками брат Левина, Николай, безусловно, был одной крови с Константином. Только у резкого Николая все обернулось губительными крайностями, а Константин оказался наделен теплотой, расположенной к людям душой.

Исключительное положение, занятое на страницах произведения этим героем, имело между тем еще одну и, конечно, главную причину. Левин оказался образом во многих отношениях автобиографическим. Еще современники обратили внимание на то, что, в общем, нетипичная для русского дворянина фамилия героя, скорее всего, является производной от имени автора произведения. Их догадка была не так уж далека от истины. Разумеется, Левин – не писатель Толстой. Но очень многие стороны биографии художника так или иначе «прозвучали» в этом художественном образе. Ведь и сам Толстой годами жил в Ясной Поляне, увлеченно занимался хозяйством... В истории женитьбы Левина и его жизни после свадьбы отдельные штрихи тоже походили на те обстоятельства, при которых состоялся брак Толстого и его жены Софьи Андреевны. Да и как было рассказать об этой таинственной области человеческого бытия, не вспоминая первые совместные радости и огорчения?

Еще более значительным для создания «левинского сюжета» оказалось внутреннее сходство между автором и его героем. Левин стал далеко не первым и не последним среди персонажей Толстого, духовно близких писателю. На страницах его романов и повестей часто присутствовали один или несколько таких «толстовских героев», и они, как правило, испытывали на прочность, постигали, утверждали всем ходом своей жизни философские воззрения художника.

Вероятно, того же хотел Толстой и в случае с Константином Левиным. И действительно Левин нередко смотрел на вещи прямо по-толстовски. Интуитивно отворачиваясь от пороков своего сословия, он решительно причислял к этим порокам все оформленное, цивилизованное, выходящее за пределы естественного чувства. Но в отличие от многих других «авторских персонажей» писателя, он все-таки был ограничен на страницах «большого» романа в собственном постижении мира. Левинские «истины» никак не могли называться в «Анне Карениной» последними, окончательными. Толстой, несомненно, «говорил из Левина», но одновременно он и рассматривал в Левине самого себя, подчиненного иным, более сложным и богатым, чем его собственная философия, мировым законам.

Поэзия свободного романа делала свое дело. Мы любим Николеньку Иртеньева из ранней трилогии писателя «Детство. Отрочество. Юность», любим Дмитрия Нехлюдова, проходящего, изменяясь со временем, через все творчество Толстого, любим Дмитрия Оленина из повести «Казаки» и тем более любим Андрея Болконского и Пьера Безухова – благородных, искренних персонажей «Войны и мира». Но Константин Левин мил нашему сердцу как-то по-особому. В нем нет ничего утвердительного, заранее предрешенного. Сам Толстой отразился в этом образе с неожиданно теплой, трогательной, домашней стороны. Здесь мы находим все самое лучшее, что покоряло в этом «башибузуке», что не давало расстаться с ним даже в трудные годы его «религиозного диктаторства» глубоко верующей двоюродной тетке писателя, его многолетнему другу и корреспонденту фрейлине А. А. Толстой, что знали связанные с ним повседневными узами семейной жизни родные и близкие люди.

Константин Левин и созидательное семейное начало действительно были неразделимы в романе. Практическая деятельность Левина, круг его интересов (именно в связи с этим героем, пожалуй, особенно ярко обнаруживал себя универсальный, «энциклопедический» склад произведения) выглядели у Толстого очень обширными. Левин, то приходя в отчаяние от невозможности одолеть вековое безразличие крестьянина (теперь уже не крепостного мужика, а наемного работника) к чужому, «барскому» хозяйству, то утешаясь обильными плодами своих трудов, горячо, упорно занимался земледелием и скотоводством. Эта область его жизни изоб-

ражалась Толстым, на удивление, тепло и человечно. Должно быть, оттого она и сохранила для читателя, в том числе современного, столь захватывающий интерес (чего стоит один только согревающий душу рассказ про отелившуюся любимицу героя, племенную корову по имени Пава!). Левин, опять же подходя к делу со своей чувствительной точки зрения, увлеченно писал экономический трактат. Самые разные стороны действительности, только под углом наивно-почвенных воззрений, глубоко и серьезно занимали этого героя. Но в центре всего находилась его постоянная мысль о собственном доме, о семье.

Обостренное нравственное чувство не только уводило Левина от заведенного в избранном обществе «самоубийственного» порядка вещей. Оно указало ему также спасительную почву, на которой было возможно восстановление распавшегося мира: глубинно отвергаемую этим обществом семейную жизнь. Левин и появлялся впервые в романе, приезжая в Москву из дорогой его сердцу сельской глуши с одним единственным намерением: просить руки давно им любимой княжны Кити Щербацкой.

Неясная память о годах самого первого детства, о распавшейся когда-то семейной гармонии заставляла героя искать традиционные, поверенные дедами и отцами жизненные пути. Отношение Левина к его избраннице – взволнованное, трепетное – соединило многолетние мечты героя о лучшем, устойчивом мире и вековые моральные ценности русского народа. Оно было чистым и целомудренным. «Любовь к женщине, – говорил о Левине Толстой, – он не только не мог себе представить без брака, но он прежде представлял себе семью, а потом уже ту женщину, которая даст ему семью. Его понятия о женитьбе поэтому не были похожи на понятия большинства его знакомых, для которых женитьба была одним из многих общежитейских дел; для Левина это было главным делом жизни, от которого зависело все ее счастье».

Вмешательство грубой, демонической силы первоначально разрушило планы героя в отношении Кити. Увлеченная Вронским, она, все-таки сознавая в душе всю губительность своего поступка, отказала Левину. Да и, пожалуй, эта девушка, потерявшая себя в светской суеде, в то время была ему не пара. Требовалось время для того, чтобы подготовить их союз. «Браки совершаются на Небесах» – эта истина непреложно заявляла о себе в «романе широкого дыхания».

История женитьбы Левина – новое, по прошествии времени, объяснение с Кити, сватовство, венчание – предстала на страницах «Анны Карениной» как ослепительный полюс света, тем более что все совершалось параллельно другому – мрачному, гнетущему (и чем дальше, тем больше) – «каренинскому» сюжету. «Какой чудесный и яркий контраст нечистой страсти и чистых чувств!» – говорил по этому поводу Н. Н. Страхов. Казалось бы, художник рассказывал о вещах самых обыкновенных. Но тут происходило нечто действительно чудесное, невиданное ни до, ни после Толстого в мировом искусстве. Встреча Левина и Кити после долгой разлуки, Левин зимней бессонной ночью у открытого окна и утром на московских улицах перед походом в дом Щербацких с последним решительным предложением, волнения в доме невесты, Левин и Кити в храме идут вокруг аналоя. Трепет, сияние, воздух наполняли собой каждое из этих описаний. Земная человеческая жизнь вся была пронизана в них неземным божественным присутствием.

А страницы, где шла речь о первом периоде совместной жизни Кити и Левина, даже о первых испытаниях, которые проходит в это трудное время каждая семья! Все, что сопровождает обыкновенно семейный быт человека, рисовалось тут в сотнях тончайших психологических оттенков. А рассказ о тревожном и радостном ожидании рождения первенца! Художественные сцены романа заключали в себе невидимое, но тем более достигающее цели поучение всем живущим. И в самом деле, редкий читатель не задаст себе недоуменного вопроса: да как же можно мирскому человеку проводить свои дни на земле без этих врачующих душу, Богом данных отношений, вне семейных спасительных трудов?

Устремившееся под откос избранное общество, конечно, и теперь не оставляло в покое молодых супругов. Однажды заехавший погостить у Левиных вместе со Стивой Облонским (отныне не только приятелем, но родственником героя) светский щеголь Васенька Весловский, не желая ничего дурного, просто по усвоенной привычке, попытался было затеять флирт с радушной хозяйкой. Но Левин, пересилив неловкость перед окружающими и долг гостеприимства, просто поверил непосредственному чувству и выставил его за порог. В Москве, куда переехали супруги с приближением родов Кити, оказавшись у Анны в гостях (это была единственная встреча двух центральных действующих лиц романа), Левин неожиданно поддался прелести ревнующей Вронского, готовой обворожить весь свет героини. Но его очарование развеялось как дым наступившими через несколько часов после этого родами Кити. Семейные узы накрепко связали Кити и Константина Левиных, не пуская их навстречу нравственно помраченной среде.

Между одной и другой основными сюжетными линиями «Анны Карениной», кроме неизбежно возникающих жизненных пересечений, на протяжении большей части романа было очень немного общего. Конечно, «каренинский» сюжет тоже имел свою теплую, живую сторону. Только здесь она постоянно выглядела попорченной, пленной, а в «левинском» сюжете раскрывалась широко и свободно. Тем не менее эти два повествовательных русла существовали в одном произведении по единым законам духовного реализма. И подобно тому, как демоническое начало увлекало Анну и Вронского, не отпускало Алексея Александровича Каренина, светлая, радостная сила вела навстречу друг другу, поддерживала в их союзе Левина и Кити. Это она показала однажды упавшему духом Левину как видение, как сон промелькнувшую за окном экипажа в рассветный час на безлюдной сельской дороге его любимую девушку (Кити действительно ехала в имение своей сестры). И она же позднее помогала влюбленным понимать друг друга с первого взгляда, сообщала одному мысли другого. Так состоялось трогательное объяснение будущих супругов: они писали мелком на картонном столе начальные буквы слов и прочитывали большие составленные из них предложения (здесь писатель вспоминал действительный случай из времен его сватовства к Софье Андреевне).

Но среди многих поразительных картин, связанных в романе с «левинским» сюжетом, были две особенно значительные. Неприкаянный Николай Левин умирал от чахотки в провинциальной гостинице, но все-таки умирал на руках близких людей – приехавшего брата Константина и своей невестки Кити. Главу, посвященную его уходу, Толстой намеренно выделил среди других. Она единственная в «Анне Карениной» получила название: «Смерть». Именно тогда, в момент расставания с землей родного существа, Константин Левин впервые ощутил свое прикосновение к Высшему Началу, которое посылает человека в мир и принимает его после смерти. Новая встреча с этим разлитым во всех проявлениях неоскверненной жизни высоким Началом ожидала героя, когда пришло время родов Кити. Связь между тем и другим описаниями сразу наметилась в романе: тотчас после смерти Николая Левина дни и ночи не отходившая от умирающего Кити почувствовала, что ждет ребенка.

Рассказ о появлении на свет нового человека, о том, что пережил герой за долгие часы трудных родов своей жены, поражает даже в «Анне Карениной» среди многих и многих непостижимо ярких описаний. Он имеет какую-то ошеломляющую силу воздействия. Левин теперь совершенно не помнил себя. «Он знал и чувствовал только, – говорилось в романе, – что то, что совершалось, было подобно тому, что совершалось год тому назад в гостинице губернского города на одре смерти брата Николая. Но то было горе, – это была радость. Но и то горе и эта радость одинаково были вне всех обычных условий жизни, были в этой обычной жизни как будто отверстия, сквозь которые показывалось что-то высшее. И одинаково тяжело, мучительно наступало совершающееся, и одинаково непостижимо при созерцании этого высшего поднималась душа на такую высоту, которой она никогда и не понимала прежде и куда рас-

судок уже не поспевал за нею». Неверующий Левин (так часто бывает в жизни) только и мог повторять в эти часы давно забытое: «Господи, прости и помоги».

«Мысль семейная» неизбежно требовала в романе «мысли религиозной», и как семейный разлад уводил героев от божественного Начала вселенной, так семейное согласие направляло их к обретению этого Начала. Слишком многое, увы, говорит за то, что под этой Высшей Силой Толстой все-таки по-прежнему имел в виду своего рода безличное нечто – источник всякого чувства, что его вера не знала и теперь ни Святой Живоначальной Троицы, ни грядущего воскресения мертвых и Страшного суда. Когда чутко следивший за выходом новых частей «Анны Карениной» А. А. Фет в письме к Толстому назвал «прорывы», куда дважды заглядывал Левин, «дырами в мир духовный, в нирвану», писатель не стал ему возражать. Возможно, стихийный «буддизм» Толстого, так очевидно заявленный уже в «Войне и мире», действительно выступал движущей силой «левинского» сюжета? Разве не были ярким тому свидетельством и по-своему идеальные картины народной жизни в романе?

Если помрачение Анны и Вронского зародилось в порочном свете, дышало одним со светом духом зла, то левинское удаление от своего круга, семейное счастье героя все больше уводили его к иной, народной, среде, нравственно чистой и просветленной.

Толстой-реалист ни в коей мере не склонен был приукрашивать людей из народа. Но там, где мужики жили независимо от «барских» условий существования, «своим миром», они действительно обнаруживали в себе на страницах романа нечто божественно-высокое. Это почувствовал Левин, когда, повинаясь невольному инстинкту, вышел однажды на полевые работы вместе с крестьянами-косцами. Еще одна вершина изобразительного искусства Толстого-художника (сколько же их в «Анне Карениной»!) – описание Левина на косьбе – тоже заключало в себе некий мистический смысл. Герой испытал, как это виделось Толстому, совершенно обычное для народной среды, незнакомое ему прежде самозабвение, состояние полного слияния с природой, с теми, кто, звеня косами, шли вокруг него. И во всем происходящем (так же как и в истории семейной жизни Левина) было ощутимо участие незримого доброго начала. «Он чувствовал, – говорилось в романе, – что какая-то внешняя сила двигала им».

Некоторое время спустя действие той же силы, только на сей раз завистливо, со стороны наблюдал тогда еще неженатый герой в согласной работе молодой крестьянской семьи – Ивана Парменова и его жены. Она же отзывалась в могучем народном гулянье по окончании рабочего дня: «Бабы с песнью приближались к Левину, и ему казалось, что туча с громом веселья надвигалась на него». Проведя ночь на копне сена, Левин увидел тогда на рассвете причудливое сплетение облаков – изумительно прекрасную перламутровую раковину, и это природное явление неожиданно совпало в его сознании со всем увиденным накануне, с его мечтами о ладной и счастливой жизни в бессознательно божественном крестьянском мире, а возможно, и о гармонии всего человечества.

Идеал Константина Левина, идеал его создателя, безусловно, выглядел и тут далеко отстоящим от христианского идеала русского народа: туманный Абсолют, который, чем бессознательнее, тем вернее действует в непринужденных инстинктах человека и народа. И, как всякий своевольно найденный идеал, он имел очевидные пределы, «замыкался» в той личности, которая его исповедует. Любовь к «безличному» все равно имела глубоко личные истоки.

В последней части романа атеист Левин вступал в напряженную, мучительную полосу религиозных исканий. Но не только необходимость высшего обоснования, укрепления нравственных ценностей, обретенных в семье, и не только потребность назвать то огромное, что открывалось герою в моменты самых сильных жизненных волнений, вели его в этом поиске. Панический страх смерти, ужас небытия (вот так же много раз повторялось это и с Толстым) стали главными «стимулами» левинского «движения к Богу». Нет сомнения, осознание собственной «конечности» часто бывает для человека первым шагом к обретению веры. И оно же нередко увлекает «жаждущую душу» очень далеко от веры живой, спасительной. Не страх

ответа за грехи, не подлинный выбор между добром и злом, но только поиск продолжения в вечности своего гордого «я» становится тогда истинным смыслом внутренней работы...

Левин находил успокоение – этим заканчивался роман. Герой убеждался, что надо жить для Бога, для души. Да собственно, Левин и прежде, только бессознательно, казалось писателю, жил именно так. Его жена, как все Щербацкие, православно верующая Кити, нисколько не смущалась в романе неверием своего мужа. Она видела, знала, что «ее Костя» лучше, одухотвореннее многих людей, которые ходят в церковь и считают себя верующими. Только раньше Левин полагал: мир живет по законам естественным, природным (и сам он стремился следовать этим законам), а теперь выяснялось, что простые законы бытия послушны единой мировой силе, что весь мир пронизан «токами» этой силы. На последних страницах «Анны Карениной» герой думал: «Я ничего не открыл. Я только узнал то, что я знаю. Я понял ту силу, которая не в одном прошедшем дала мне жизнь, но теперь дает мне жизнь. Я освободился от обмана, я узнал хозяина». Весь религиозный поиск закончился тем, что Левин признал наконец божественной, а не просто материальной собственную жизнь, жизнь народа. И та и другая, очевидно, представлялись ему безгрешными. Единственный грех состоял в «отклонении» от естественных законов навстречу «цивилизованному» миру. Левин, кажется, и не думал о покаянии. Он во всем оправдал себя – и успокоился на время.

Обретение собственной веры (это вытекало из всего «левинского» сюжета), конечно, было немислимо для героя вне соприкосновения с народной средой. Именно в общении с простыми людьми вызревала найденная Левиным формула: жить для Бога. Естественно при этом, что Бог русского народа выглядел в глазах героя вполне по-толстовски. То не был Христос, «грядущий со славою судить живым и мертвым» (Толстой по-прежнему, как это было на протяжении всех прошедших лет, избегал называть Христа Богом), но только начало всего естественного, бессознательного, непринужденного...

Левин отдавал себе отчет в том, что народная вера – это Православие. Он собирался в дальнейшем держаться русского христианства, которое досталось ему от предков. Более того, Левину казалось, что он не имеет ни права, ни возможности решать вопрос об отношении к Богу других существующих в мире исповеданий веры. А между тем из его рассуждений выходило, что любая вера – это путь к единому для всех доброму началу безгрешного мира. Была бы вера, а Бог откроется. Как тут не вспомнить самого писателя, много раз пытавшегося найти в Церкви подтверждение своего, предполагалось, большего, чем православный, «символа веры»!

И все же не так просто обстояло дело с центральным персонажем «Анны Карениной», с духовными итогами произведения. Правда, что «роман широкого дыхания» в заключительной своей части выглядел словно зауженным. Но он и не иссяк, не мог иссякнуть совершенно. Огромная, пушкинская, сила всего сказанного прежде сообщала иное значение, иной смысл и этому своеобразному его эпилогу. Да и прямо здесь поэтическое чувство меры, высокий строй произведения постоянно напоминали о себе.

Осуждение добровольческого движения в поддержку сербов, осуждение носящейся в воздухе близкой большой войны на Балканах (толстовское – незримое и левинское – открытое) стало важным мотивом последней части романа. Кровопролитие ради каких-то отдаленных, неосягаемых и незнакомых братьев представлялось тут совершенно бессмысленным и даже греховным. Однажды Левин доказывал это своим оппонентам Кознышеву и Катавасову, самоуверенно заявляя, что он, Левин, и есть народ и его взгляд на войну – народный. Но старик пасечник, от которого герой надеялся услышать подтверждение собственным мыслям, обескуражил Левина своим ответом на заданный вопрос, что он думает по поводу войны: «Что ж нам думать? Александра Николаич, император, нас обдумал, он нас и обдумает во всех делах. Ему видней...» Русский народ на страницах романа нигде не умещался в левинское, философическое, русло повествования. Его вера, его взгляд на вещи все-таки были иными.

Идеал Константина Левина постоянно присутствовал в романе и даже порой выдвигался на первый план как идеал авторский. В последней, восьмой, части произведения это становилось особенно заметным. Но одновременно Левин занимал свое место в общем ансамбле персонажей «Анны Карениной». И в этом смысле, особенно на последних страницах романа, он тоже становился лицом кризисным, одним из участников национальной духовной катастрофы. Нет, не случайно мысли о самоубийстве жестоко преследовали героя в период его духовного поиска. Анна и Вронский – это понятно. Но Левин! А между тем осознание неизбежности собственного земного конца (и снова приходит на память когда-то испытанный Толстым «арзамасский ужас») делало для него бессмысленной дальнейшую жизнь, толкало к непоправимому...

Левину показалось, что он увидел выход. Многие заставляют в этом усомниться. Его нравственная отзывчивость, его лучшие душевные порывы готовы были обратить героя вспять от вековой народной Святыни. Поэзия романа, иногда сама попадая в плен левинских туманных мечтаний, беспощадно высвечивала именно такую перспективу. Тем не менее выбор продолжал оставаться за Левиным.

Религиозные поиски этого героя часто связывали с «переворотом» в мировоззрении Толстого, наступившим несколько лет спустя по окончании «Анны Карениной». Такие мысли напрашиваются сами собой. И все-таки мы не в праве смотреть на Левина с точки зрения заранее известного результата. В 1877 году, когда писатель закончил свое произведение, ничто еще не было решено ни в жизни Левина, ни в жизни его создателя. После недолгой попытки подлинного воцерковления Толстой устремился навстречу русской смуте, стал одним из главных ее выразителей и творцов. Левин так и остался жить на страницах свободного романа. Мы не знаем, будет ли его судьба выходом из национальной катастрофы, или же левинские искания обернутся только углублением общего кризиса.

«Анна Каренина» – роман с открытым финалом. И это обстоятельство оставляет нам право желать его центральному герою по-настоящему спасительной судьбы. Ведь самое первое душевное движение, разбудившее в нем религиозное чувство, Левин ощутил именно в церкви, во время вынужденной, перед венчанием, исповеди. Его разговор со священником, сама исповедь, несмотря на то что герой совершенно по-толстовски покаялся только в одном – в собственном неверии, принадлежат к наиболее светлым описаниям романа. Да и постоянное стремление жить вместе с народом, искать веру в народе (хоть, конечно, подлинная вера обретается только в Церкви), как знать, не приведет ли героя рано или поздно к действительному народному идеалу?

Не только Левин – вся огромная Россия стояла перед выбором. Великое произведение русской литературы утверждало его возможность и необходимость. И над всеми судьбами, показанными в романе, над всеми картинами русского пошатнувшегося дома возвышалось царственное, ничем не устранимое из книги Толстого, из жизни мира грозное Евангельское: «Мне отмщение, и Аз воздам».

* * *

Эпоха, когда создавался и увидел свет «роман широкого дыхания», по видимости, очень далека от нас. Тем не менее «Анна Каренина» – одно из наиболее читаемых произведений мировой классики и, может быть, самое читаемое в наши дни произведение Толстого. Эту книгу любят и о ней спорят. За всеми реалиями давно ушедшего времени мы неожиданно находим здесь волнующую правду о мире и о себе.

Русская смута не ушла в прошлое. Весь XX век, то набирая бешеную силу, то ненадолго ослабевая, она продолжала свое шествие по великой и прекрасной стране. Нравственные испытания, через которые проходили герои «Анны Карениной», так или иначе коснулись каждого в России. Безотцовщина, духовная неприкаянность стали обычным уделом нескольких поко-

лений. Мы и теперь живем «в эпоху Толстого». Распадаются семейства, распадается, не может собраться вместе большая русская семья.

Так ли все безнадежно? Свет Истины вечно сияет над миром. Он никогда и не покидал Россию, только ярче светил в судьбах тех, кто оставался ему верен. Он сохранял, сохраняет страну и сегодня, дарит ей надежду на иные, лучшие времена. Выбор по-прежнему остается за нами.

Александр Гулин

Анна Каренина

Роман в восьми частях

Мне отмщение, и Аз воздам¹

Часть первая



I

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкою-гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами семьи, и домочадцами. Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их сожительстве и что на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день не было дома. Дети бегали по всему дому, как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар ушел вчера со двора, во время самого обеда; черная кухарка и кучер просили расчета.

На третий день после ссоры князь Степан Аркадьич Облонский – Стива, как его звали в свете, – в обычный час, то есть в восемь часов утра, проснулся не в спальне жены, а в своем кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное, выхоленное тело на пружинах дивана, как бы желая опять заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку и прижался к ней щекой; но вдруг вскочил, сел на диван и открыл глаза.

«Да, да, как это было? – думал он, вспоминая сон. – Да, как это было? Да! Алабин давал обед в Дармштадте; нет, не в Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт был

¹ «Мне отмщение, и Аз воздам». – Эпиграф взят из Библии: «У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их; ибо близок день гибели их, скоро наступит уготованное для них» (Второзаконие, гл. 32, 35). Эти слова были повторены и в «Послании к Римлянам» апостола Павла: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: «Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь» (гл. 12, 19).

в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах, да, – и столы пели: *Il mio tesoro*², и не *Il mio tesoro*, а что-то лучше, и какие-то маленькие графинчики, и они же женщины», – вспоминал он.

Глаза Степана Аркадьича весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было, очень хорошо. Много еще что-то там было отличного, да не скажешь словами и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив полосу света, пробившуюся сбоку одной из суконных стор, он весело скинул ноги с дивана, отыскал ими шитые женой (подарок ко дню рождения в прошлом году), обделанные в золотистый сафьян туфли и по старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне у него висел халат. И тут он вспомнил вдруг, как и почему он спит не в спальне жены, а в кабинете; улыбка исчезла с его лица, он сморщил лоб.

«Ах. ах, ах! Ааа!...» – замычал он, вспоминая все, что было. И его воображению представились опять все подробности ссоры с женою, вся безвыходность его положения и мучительнее всего собственная вина его.

«Да! она не простит и не может простить. И всего ужаснее то, что виной всему я, виной я, а не виноват. В этом-то вся драма, – думал он. – Ах, ах, ах!» – приговаривал он с отчаянием, вспоминая самые тяжелые для себя впечатления из этой ссоры.

Неприятнее всего была та первая минута, когда он, вернувшись из театра, веселым и довольным, с огромною грушей для жены в руке, не нашел жены в гостиной; к удивлению, не нашел ее и в кабинете и, наконец, увидел ее в спальне с несчастною, открывшею все, запиской в руке.

Она, эта вечно озабоченная, и хлопотливая, и недалекая, какую он считал ее, Долли, неподвижно сидела с запиской в руке и с выражением ужаса, отчаяния и гнева смотрела на него.

– Что это? это? – спрашивала она, указывая на записку.

И при этом воспоминании, как это часто бывает, мучало Степана Аркадьича не столько самое событие, сколько то, как он ответил на эти слова жены.

С ним случилось в эту минуту то, что случается с людьми, когда они неожиданно уличены в чем-нибудь слишком постыдном. Он не сумел приготовить свое лицо к тому положению, в которое он становился пред женой после открытия его вины. Вместо того чтобы оскорбиться, отречься, оправдываться, просить прощения, оставаться даже равнодушным – все было бы лучше того, что он сделал! – его лицо совершенно невольно («рефлексы головного мозга», – подумал Степан Аркадьич, который любил физиологию³), совершенно невольно вдруг улыбнулось привычною, доброю и потому глупою улыбкой.

Эту глупую улыбку он не мог простить себе. Увидав эту улыбку, Долли вздрогнула, как от физической боли, разразилась, со свойственною ей горячностью, потоком жестоких слов и выбежала из комнаты. С тех пор она не хотела видеть мужа.

– «Всему виной эта глупая улыбка», – думал Степан Аркадьич.

«Но что ж делать? что ж делать?» – с отчаянием говорил он себе и не находил ответа.

² Мое сокровище (*ит.*).

³ «...рефлексы головного мозга», – подумал Степан Аркадьич, который любил физиологию... – Облонский имеет в виду работу «Рефлексы головного мозга» И. М. Сеченова (1829–1905), опубликованную в 1863 г. Сеченов утверждал в ней, что все акты сознательной и бессознательной жизни по способу происхождения рефлексы. В 1873 г. он опубликовал «Психологические этюды». Материалистическая физиология тогда увлекала многих современников. На «Рефлексы» ссылались, о них говорили и спорили всюду, даже те, кто знал о них хотя бы понаслышке (об этом см.: Л. Ф. Пантелеев. «Воспоминания». М., 1958, с. 526).

II

Степан Аркадьич был человек правдивый в отношении к себе самому. Он не мог обманывать себя и уверять себя, что он раскаивается в своем поступке. Он не мог раскаиваться теперь в том, в чем он раскаивался когда-то лет шесть тому назад, когда он сделал первую неверность жене. Он не мог раскаиваться в том, что он, тридцатичетырехлетний, красивый, влюбчивый человек, не был влюблен в жену, мать пяти живых и двух умерших детей, бывшую только годом моложе его. Он раскаивался только в том, что не умел лучше скрыть от жены. Но он чувствовал всю тяжесть своего положения и жалел жену, детей и себя. Может быть, он сумел бы лучше скрыть свои грехи от жены, если б ожидал, что это известие так на нее подействует. Ясно он никогда не обдумывал этого вопроса, но смутно ему представлялось, что жена давно догадывается, что он не верен ей, и смотрит на это сквозь пальцы. Ему даже казалось, что она, истощенная, состарившаяся, уже некрасивая женщина и ничем не замечательная, простая, только добрая мать семейства, по чувству справедливости должна быть снисходительна. Оказалось совсем противное.

«Ах, ужасно! ай, ай, ай! ужасно! – твердил себе Степан Аркадьич и ничего не мог придумать. – И как хорошо все это было до этого, как мы хорошо жили! Она была довольна, счастлива детьми, я не мешал ей ни в чем, предоставлял ей возиться с детьми, с хозяйством, как она хотела. Правда, нехорошо, что *она* была гувернанткой у нас в доме. Нехорошо! Есть что-то тривиальное, пошлое в ухаживанье за своею гувернанткой. Но какая гувернантка! (Он живо вспомнил черные плутовские глаза m-De Roland и ее улыбку.) Но ведь пока она была у нас в доме, я не позволял себе ничего. И хуже всего то, что она уже... Надо же это все как нарочно. Ай, ай, ай! Аяй! Но что же, что же делать?»

Ответа не было, кроме того общего ответа, который дает жизнь на все самые сложные и неразрешимые вопросы. Ответ этот: надо жить потребностями дня, то есть забыться. Забыться сном уже нельзя, по крайней мере до ночи, нельзя уже вернуться к той музыке, которую пели графинчики-женщины; стало быть, надо забыться сном жизни.

«Там видно будет», – сказал себе Степан Аркадьич и, встав, надел серый халат на голубой шелковой подкладке, закинул кисти узлом и, вдоволь забрав воздуха в свой широкий грудной ящик, привычным бодрым шагом вывернутых ног, так легко носивших его полное тело, подошел к окну, поднял стору и громко позвонил. На звонок тотчас же вошел старый друг, камердинер Матвей, неся платье, сапоги и телеграмму. Вслед за Матвеем вошел и цирюльник с припасами для бритья.

– Из присутствия есть бумаги? – спросил Степан Аркадьич, взяв телеграмму и сядя к зеркалу.

– На столе, – отвечал Матвей, взглянул вопросительно, с участием, на барина и, подождав немного, прибавил с хитрою улыбкой: – От хозяина извозчика приходили.

Степан Аркадьич ничего не ответил и только в зеркало взглянул на Матвея; во взгляде, которым они встретились в зеркале, видно было, как они понимают друг друга. Взгляд Степана Аркадьича как будто спрашивал; «Это зачем ты говоришь? разве ты не знаешь?»

Матвей положил руки в карманы своей жакетки, отставил ногу и молча, добродушно, чуть-чуть улыбаясь, посмотрел на своего барина.

– Я приказал прийти в то воскресенье, а до тех пор чтоб не беспокоили вас и себя понапрасну, – сказал он, видимо, приготовленную фразу.

Степан Аркадьич понял, что Матвей хотел пошутить и обратить на себя внимание. Разорвав телеграмму, он прочел ее, догадкой поправляя перевернутые, как всегда, слова, и лицо его просияло.

– Матвей, сестра Анна Аркадьевна будет завтра, – сказал он, остановив на минуту глянцеви́тую, пухлую ручку цирюльника, расчищавшую розовую дорогу между длинными кудрявыми бакенбардами.

– Слава богу, – сказал Матвей, этим ответом показывая, что он понимает так же, как и барин, значение этого приезда, то есть что Анна Аркадьевна, любимая сестра Степана Аркадьича, может содействовать примирению мужа с женой.

– Одни или с супругом? – спросил Матвей.

Степан Аркадьич не мог говорить, так как цирюльник занят был верхней губой, и поднял один палец. Матвей в зеркало кивнул головой.

– Одни, Наверху приготовить?

– Дарье Александровне доложи, где прикажут.

– Дарье Александровне? – как бы с сомнением повторил Матвей.

– Да, доложи. И вот возьми телеграмму, передай, что они скажут.

«Попробовать хотите», – понял Матвей, но он сказал только:

– Слушаю-с.

Степан Аркадьич уже был умыт и расчесан и собирался одеваться, когда Матвей, медленно ступая поскрипывающими сапогами по мягкому ковру, с телеграммой в руке, вернулся в комнату. Цирюльника уже не было.

– Дарья Александровна приказали доложить, что они уезжают. Пускай делают, как им, вам то есть, угодно, сказал он, смеясь только глазами, и, положив руки в карманы и склонив голову набок, уставился на барина.

Степан Аркадьич помолчал. Потом добрая и несколько жалкая улыбка показалась на его красивом лице.

– А? Матвей? – сказал он, покачивая головой.

– Ничего, сударь, образуется, – сказал Матвей.

– Образуется?

– Так точно-с.

– Ты думаешь? Это кто там? – спросил Степан Аркадьич, услышав за дверью шум женского платья.

– Это я-с, – сказал твердый и приятный женский голос, и из-за двери высунулось строгое рябое лицо Матрены Филимоновны, нянюшки.

– Ну что, Матреша? – спросил Степан Аркадьич, выходя к ней в дверь.

Несмотря на то, что Степан Аркадьич был кругом виноват пред женой и сам чувствовал это, почти все в доме, даже нянюшка, главный друг Дарьи Александровны, были на его стороне.

– Ну что? – сказал он уныло.

– Вы сходите, сударь, повинитесь еще. Авось бог даст. Очень мучаются, и смотреть жалости, да и все в доме навынтараты пошло. Детей, сударь, пожалеть надо. Повинитесь, сударь. Что делать! Люби кататься...

– Да ведь не примет...

– А вы свое сделайте. Бог милостив, богу молитесь, сударь, богу молитесь.

– Ну, хорошо, ступай, – сказал Степан Аркадьич, вдруг покраснев. – Ну, так давай одеваться, – обратился он к Матвею и решительно скинул халат.

Матвей уже держал, сдувая что-то невидимое, хомутом приготовленную рубашку и с очевидным удовольствием облек в нее холеное тело барина.

III

Одевшись, Степан Аркадьич прыснул на себя духами, вытянул рукава рубашки, привычным движением рассовал по карманам папиросы, бумажник, спички, часы с двумя цепочками

и брелоками и, встряхнув платок, чувствуя себя чистым, душистым, здоровым и физически веселым, несмотря на свое несчастье, вышел, слегка подрагивая на каждой ноге, в столовую, где уже ждал его кофей и, рядом с кофеем, письма и бумаги из присутствия.

Степан Аркадьич сел, прочел письма. Одно было очень неприятное – от купца, покупавшего лес в имении жены. Лес этот необходимо было продать; но теперь, до примирения с женой, не могло быть о том речи. Всего же неприятнее тут было то, что этим подмешивался денежный интерес в предстоящее дело его примирения с женою. И мысль, что он может руководиться этим интересом, что он для продажи этого леса будет искать примирения с женой, – эта мысль оскорбляла его.

Окончив письма, Степан Аркадьич придвинул к себе бумаги из присутствия, быстро перелистывал два дела, большим карандашом сделал несколько отметок и, отодвинув дела, взялся за кофе; за кофеем он развернул еще сырую утреннюю газету и стал читать ее.

Степан Аркадьич получал и читал либеральную газету, не крайнюю, но того направления, которого держалось большинство.⁴ И, несмотря на то, что ни наука, ни искусство, ни политика, собственно, не интересовали его, он твердо держался тех взглядов на все эти предметы, каких держалось большинство и его газета, и изменял их, только когда большинство изменяло их, или, лучше сказать, не изменял их, а они сами в нем незаметно изменялись.

Степан Аркадьич не избирал ни направления, ни взглядов, а эти направления и взгляды сами приходили к нему, точно так же, как он не выбирал формы шляпы или сюртука, а брал те, которые носят. А иметь взгляды ему, жившему в известном обществе, при потребности некоторой деятельности мысли, развивающейся обыкновенно в лета зрелости, было так же необходимо, как иметь шляпу. Если и была причина, почему он предпочитал либеральное направление консервативному, какого держались тоже многие из его круга, то это произошло не оттого, чтоб он находил либеральное направление более разумным, но потому, что оно подходило ближе к его образу жизни. Либеральная партия говорила, что в России все скверно, и действительно, у Степана Аркадьича долгов было много, а денег решительно не доставало. Либеральная партия говорила, что брак есть отжившее учреждение и что необходимо перестроить его, и действительно, семейная жизнь доставляла мало удовольствия Степану Аркадьичу и принуждала его лгать и притворяться, что было так противно его натуре. Либеральная партия говорила, или, лучше, подразумевала, что религия есть только узда для варварской части населения, и действительно, Степан Аркадьич не мог вынести без боли в ногах даже короткого молебна и не мог понять, к чему все эти страшные и высокопарные слова о том свете, когда и на этом жить было бы очень весело. Вместе с этим Степану Аркадьичу, любившему веселую шутку, было приятно иногда озадачить смиренного человека тем, что если уже гордиться порокой, то не следует останавливаться на Рюрике и отрекаться от первого родоначальника – обезьяны. Итак, либеральное направление сделалось привычкой Степана Аркадьича, и он любил свою газету, как сигару после обеда, за легкий туман, который она производила в его голове. Он прочел руководящую статью, в которой объяснялось, что в наше время совершенно напрасно поднимается вопль о том, будто бы радикализм угрожает поглотить все консервативные элементы и будто бы правительство обязано принять меры для подавления революционной гидры, что, напротив, «по нашему мнению, опасность лежит не в мнимой революционной гидре, а в упорстве традиционности, тормозящей прогресс», и т. д. Он прочел и другую статью, финансовую, в которой упоминалось о Бентаме и Милле и подпускались тонкие шпильки министер-

⁴ Степан Аркадьич получал и читал либеральную газету, не крайнюю, но того направления, которого держалось большинство. – Облонский читает газету А. Краевского «Голос» – орган либерального чиновничества, которую называли «барометром общественного мнения». Мысль об «упорной традиционности, тормозящей прогресс», выражена в «Листке» газеты «Голос» (1873, № 21). Там же говорится о «пугливых охранителях», которым всюду мерещится «красный призрак... или гидра об 18 000 головах». Возможно, перед Толстым был именно этот помер газеты, когда он писал сцену утреннего чтения Облонского.

ству. Со свойственной ему быстротою соображения он понимал значение всякой шпильки: от кого и на кого и по какому случаю она была направлена, и это, как всегда, доставляло ему некоторое удовольствие. Но сегодня удовольствие это отравлялось воспоминанием о советах Матрены Филимоновны и о том, что в доме так неблагоприятно. Он прочел и о том, что граф Бейст, как слышно, проехал в Висбаден⁵, и о том, что нет более седых волос, и о продаже легкой кареты, и предложение молодой особы; но эти сведения не доставляли ему, как прежде, тихого иронического удовольствия.

Окончив газету, вторую чашку кофе и калач с маслом, он встал, стряхнул крошки калача с жилета и, расправив широкую грудь, радостно улыбнулся, не оттого, чтоб у него на душе было что-нибудь особенно приятное, – радостную улыбку вызвало хорошее пищеварение.

Но эта радостная улыбка сейчас же напомнила ему все, и он задумался.

Два детские голоса (Степан Аркадьич узнал голоса Гриши, меньшого мальчика, и Тани, старшей девочки) слышались за дверьми. Они что-то везли и уронили.

– Я говорила, что на крышу нельзя сажать пассажиров, – кричала по-английски девочка, – вот подбери!

«Все смешалось, – подумал Степан Аркадьич, – вон дети одни бегают». И, подойдя к двери, он кликнул их. Они бросили шкатулку, представлявшую поезд, и вошли к отцу.

Девочка, любимица отца, вбежала смело, обняла его и, смеясь, повисла у него на шее, как всегда, радуясь на знакомый запах духов, распространявшийся от его бакенбард. Поцеловав его, наконец, в покрасневшее от наклоненного положения и сияющее нежностью лицо, девочка разняла руки и хотела бежать назад; но отец удержал ее.

– Что мама? – сказал отец, водя рукой по гладкой нежной шейке дочери. – Здравствуй, – сказал он, улыбаясь здоровавшемуся мальчику.

Он сознавал, что меньше любил мальчика, и всегда старался быть ровен; но мальчик чувствовал это и не ответил улыбкой на холодную улыбку отца.

– Мама? Встала, – отвечала девочка.

Степан Аркадьич вздохнул. «Значит, опять не спала всю ночь», – подумал он.

– Что, она весела?

Девочка знала, что между отцом и матерью была ссора, и что мать не могла быть весела, и что отец должен знать это, и что он притворяется, спрашивая об этом так легко. И она покраснела за отца. Он тотчас же понял это и также покраснел.

– Не знаю, – сказала она. – Она не велела учиться, а велела идти гулять с мисс Гуль к бабушке.

– Ну, иди, Танчурочка моя. Ах да, постой, – сказал он, все-таки удерживая ее и глядя ее нежную ручку.

Он достал с камина, где вчера поставил, коробочку конфет и дал ей две, выбрав ее любимые, шоколадную и помадную.

– Грише? – сказала девочка, указывая на шоколадную.

– Да, да. – И еще раз погладив ее плечико, он поцеловал ее в корни волос, в шею и отпустил ее.

– Карета готова, – сказал Матвей. – Да просительница, – прибавил он.

– Давно тут? – спросил Степан Аркадьич.

– С полчасика.

– Сколько раз тебе приказано сейчас же докладывать!

⁵ Он прочел и о том, что граф Бейст, как слышно, проехал в Висбаден... – Фридрих Фердинанд фон Бейст (1809–1886) – канцлер Австро-Венгрии, политический противник Бисмарка. Его имя постоянно упоминается в политических газетных хрониках тех лет. Висбаден – курортный город. Бейст и Бисмарк имели значительное влияние на развитие военного конфликта на Балканах. Событий, связанных с войной славянских народов против владычества Турции, Толстой касается в последней части романа.

– Надо же вам дать хоть кофею откусать, – сказал Матвей тем дружески грубым тоном, на который нельзя было сердиться.

– Ну, проси же скорее, – сказал Облонский, морщась от досады.

Просительница, штабс-капитанша Калинина, просила о невозможном и бестолковом; но Степан Аркадьич, по своему обыкновению, усадил ее, внимательно, не перебивая, выслушал ее и дал ей подробный совет, к кому и как обратиться, и даже бойко и складно своим крупным, растянутым, красивым и четким почерком написал ей записочку к лицу, которое могло ей пособить. Отпустив штабс-капитаншу, Степан Аркадьич взял шляпу и остановился, припоминая, не забыл ли чего. Оказалось, что он ничего не забыл, кроме того, что хотел забыть, – жену.

«Ах да!» Он опустил голову, и красивое лицо его приняло тоскливое выражение. «Пойти или не пойти?» – говорил он себе. И внутренний голос говорил ему, что ходить не надобно, что, кроме фальши, тут ничего быть не может, что поправить, починить их отношения невозможно, потому что невозможно сделать ее опять привлекательною и возбуждающею любовь или его сделать стариком, не способным любить. Кроме фальши и лжи, ничего не могло выйти теперь; а фальшь и ложь были противны его натуре.

«Однако когда-нибудь нужно; ведь не может же это так остаться», – сказал он, стараясь придать себе смелости. Он выпрямил грудь, вынул папироску, закурил, пыхнул два раза, бросил ее в перламутровую раковину-пепельницу, быстрыми шагами прошел мрачную гостиную и отворил другую дверь, в спальню жены.

IV

Дарья Александровна, в кофточке и с припиленными на затылке косами уже редких, когда-то густых и прекрасных волос, с осунувшимся, худым лицом и большими, выдававшими от худобы лица, испуганными глазами, стояла среди разбросанных по комнате вещей перед открытою шифоньеркой, из которой она выбирала что-то. Услыхав шаги мужа, она остановилась, глядя на дверь и тщетно пытаясь придать своему лицу строгое и презрительное выражение. Она чувствовала, что боится его и боится предстоящего свидания. Она только что пыталась сделать то, что пыталась сделать уже десятый раз в эти три дня: отобрать детские и свои вещи, которые она увезет к матери, – и опять не могла на это решиться; но и теперь, как в прежние раза, она говорила себе, что это не может так остаться, что она должна предпринять что-нибудь, наказать, осрамить его, отомстить ему хоть малую частью той боли, которую он ей сделал. Она все еще говорила, что уедет от него, но чувствовала, что это невозможно; это было невозможно потому, что она не могла отвыкнуть считать его своим мужем и любить его. Кроме того, она чувствовала, что если здесь, в своем доме, она едва успевала ухаживать за своими пятью детьми, то им будет еще хуже там, куда она поедет со всеми ими. И то в эти три дня меньшей заболел оттого, что его накормили дурным бульоном, а остальные были вчера почти без обеда. Она чувствовала, что уехать невозможно; но, обманывая себя, она все-таки отбирала вещи и притворялась, что уедет.

Увидав мужа, она опустила руки в ящик шифоньерки, будто отыскивая что-то, и оглянулась на него, только когда он совсем вплоть подошел к ней. Но лицо ее, которому она хотела придать строгое и решительное выражение, выражало потерянность и страдание.

– Долли! – сказал он тихим, робким голосом. Он втянул голову в плечи и хотел иметь жалкий и покорный вид, но он все-таки сиял свежестью и здоровьем.

Она быстрым взглядом оглядела с головы до ног его сияющую свежестью и здоровьем фигуру. «Да, он счастлив и доволен! – подумала она, – а я?!. И эта доброта противная, за которую все так любят его и хвалят; я ненавижу эту его доброту», – думала она. Рот ее сжался, мускул щеки затрясся на правой стороне бледного, нервного лица.

– Что вам нужно? – сказала она быстрым, не своим, грудным голосом.

– Долли! – повторил он с дрожанием голоса. – Анна приедет нынче.

– Ну что же мне? Я не могу ее принять! – вскрикнула она.

– Но надо же, однако, Долли...

– Уйдите, уйдите, уйдите! – не глядя на него, вскрикнула она, как будто крик этот был вызван физической болью.

Степан Аркадьич мог быть спокоен, когда он думал о жене, мог надеяться, что все *образуется*, по выражению Матвея, и мог спокойно читать газету и пить кофе; но когда он увидел ее измученное, страдальческое лицо, услышал этот звук голоса, покорный и отчаянный, ему захватило дыхание, что-то подступило к горлу, и глаза его заблестели слезами.

– Боже мой, что я сделал! Долли! Ради бога!.. Ведь... – он не мог продолжать, рыдание остановилось у него в горле.

Она захлопнула шифоньерку и взглянула на него.

– Долли, что я могу сказать?.. Одно: прости, прости... Вспомни, разве девять лет жизни не могут искупить минуты, минуты...

Она стояла, опустил глаза, и слушала, ожидая, что он скажет, как будто умоляя его о том, чтобы он как-нибудь разуверил ее.

– Минуты... минуты увлечения... – выговорил он и хотел продолжать, но при этом слове, будто от физической боли, опять поджались ее губы и опять запрыгал мускул щеки на правой стороне лица.

– Уйдите, уйдите отсюда! – закричала она еще пронзительнее, – и не говорите мне про ваши увлечения, про ваши мерзости!

Она хотела уйти, пошатнулась и взялась за спинку стула, чтоб опереться. Лицо его расширилось, губы распухли, глаза налились слезами.

– Долли! – проговорил он, уже всхлипывая. – Ради бога, подумай о детях, они не виноваты. Я виноват, и накажи меня, вели мне искупить свою вину. Чем я могу, я все готов! Я виноват, нет слов сказать, как я виноват! Но, Долли, прости!

Она села. Он слышал ее тяжелое, громкое дыхание, и ему было невыразимо жалко ее. Она несколько раз хотела начать говорить, но не могла. Он ждал.

– Ты помнишь детей, чтоб играть с ними, а я помню и знаю, что они погибли теперь, – сказала она, видимо, одну из фраз, которые она за эти три дня не раз говорила себе.

Она сказала ему «ты», и он с благодарностью взглянул на нее и тронулся, чтобы взять ее руку, но она с отвращением отстранилась от него.

– Я помню про детей и поэтому все в мире сделала бы, чтобы спасти их; но я сама не знаю, чем я спасу их: тем ли, что увезу от отца, или тем, что оставлю с развратным отцом, – да, с развратным отцом... Ну, скажите, после того... что было, разве возможно нам жить вместе? Разве это возможно? Скажите же, разве это возможно? – повторяла она, возвышая голос. – После того, как мой муж, отец моих детей, входит в любовную связь с гувернанткой своих детей...

– Ну что ж... Ну что ж делать? – говорил он жалким голосом, сам не зная, что он говорит, и все ниже и ниже опуская голову.

– Вы мне гадки, отвратительны! – закричала она, горячась все более и более. – Ваши слезы – вода! Вы никогда не любили меня; в вас нет ни сердца, ни благородства! Вы мне мерзки, гадки, чужой, да, чужой! – с болью и злобой произносила она это ужасное для себя слово *чужой*.

Он поглядел на нее, и злоба, выразившаяся в ее лице, испугала и удивила его. Он не понимал того, что его жалость к ней раздражала ее. Она видела в нем к себе сожаленье, но не любовь. «Нет, она ненавидит меня. Она не простит», – подумал он.

– Это ужасно! Ужасно! – проговорил он.

В это время в другой комнате, вероятно упавши, закричал ребенок; Дарья Александровна прислушалась, и лицо ее вдруг смягчилось.

Она, видимо, опомнилась несколько секунд, как бы не зная, где она и что ей делать, и, быстро вставши, тронулась к двери.

«Ведь любит же она моего ребенка, – подумал он, заметив изменение ее лица при крике ребенка, – *моего* ребенка; как же она может ненавидеть меня?»

– Долли, еще одно слово, – проговорил он, идя за нею.

– Если вы пойдете за мной, я позову людей, детей! Пускай все знают, что вы подлец! Я уезжаю нынче, а вы живите здесь с своею любовницей!

И она вышла, хлопнув дверью.

Степан Аркадьич вздохнул, отер лицо и тихими шагами пошел из комнаты. «Матвей говорит: образуется; но как? Я не вижу даже возможности. Ах, ах, какой ужас! И как тривиально она кричала, – говорил он сам себе, вспоминая ее крик и слова: подлец и любовница. – И, может быть, девушки слышали! Ужасно тривиально, ужасно». Степан Аркадьич постоял несколько секунд один, отер глаза, вздохнул и, выпрямив грудь, вышел из комнаты.

Была пятница, и в столовой часовщик-немец заводил часы. Степан Аркадьич вспомнил свою шутку об этом аккуратном плешивом часовщике, что немец «сам был заведен на всю жизнь, чтобы заводить часы», – и улыбнулся. Степан Аркадьич любил хорошую шутку. «А может быть, и образуется! Хорошо словечко: *образуется*, – подумал он. – Это надо рассказать».

– Матвей! – крикнул он, – так устрой же все там с Марьей в диванной для Анны Аркадьевны, – сказал он явившемуся Матвею.

– Слушаю-с.

Степан Аркадьич надел шубу и вымел на крыльцо.

– Кушать дома не будете? – сказал провожавший Матвей.

– Как придется. Да вот возьми на расходы, – сказал он, подавая десять рублей из бумажника. – Довольно будет?

– Довольно ли, не довольно, видно, обойтись надо, – сказал Матвей, захлопывая дверку и отступая на крыльцо.

Дарья Александровна между тем, успокоив ребенка и по звуку кареты поняв, что он уехал, вернулась опять в спальню. Это было единственное убежище ее от домашних забот, которые обступали ее, как только она выходила. Уже и теперь, в то короткое время, когда она выходила в детскую, англичанка и Матрена Филимоновна успели сделать ей несколько вопросов, не терпевших отлагательства и на которые она одна могла ответить: что надеть детям на гулянье? давать ли молоко? не послать ли за другим поваром?

– Ах, оставьте, оставьте меня! – сказала она и, вернувшись в спальню, села опять на то же место, где она говорила с мужем, сжав исхудавшие руки с кольцами, спускавшимися с костлявых пальцев, и принялась перебирать в воспоминании весь бывший разговор. «Уехал! Но чем же кончил он *с нею*? – думала она. – Неужели он видаёт ее? Зачем я не спросила его? Нет, нет, сойтись нельзя. Если мы и останемся в одном доме – мы чужие. Навсегда чужие!» – повторила она опять с особенным значением это страшное для нее слово. «А как я любила, боже мой, как я любила его!.. Как я любила! И теперь разве я не люблю его? Не больше ли, чем прежде, я люблю его? Ужасно, главное, то...» – начала она, но не dokonчила своей мысли, потому что Матрена Филимоновна высунулась из двери.

– Уж прикажите за братом послать, – сказала она, – все он изготовит обед; а то, по-вчерашнему, до шести часов дети не евши.

– Ну, хорошо, я сейчас выйду и распоряжусь. Да послали ли за свежим молоком?

И Дарья Александровна погрузилась в заботы дня и потопила в них на время свое горе.

V

Степан Аркадьич в школе учился хорошо благодаря своим хорошим способностям, но был ленив и шалун и потому вышел из последних, но, несмотря на свою всегда разгульную жизнь, небольшие чины и нестарые годы, занимал почетное и с хорошим жалованьем место начальника в одном из московских присутствий. Место это он получил чрез мужа сестры Анны, Алексея Александровича Каренина, занимавшего одно из важнейших мест в министерстве, к которому принадлежало присутствие; но если бы Каренин не назначил своего шурина на это место, то чрез сотню других лиц, братьев, сестер, родных, двоюродных, дядей, теток, Стива Облонский получил бы это место или другое подобное, тысяч в шесть жалованья, которые ему были нужны, так как дела его, несмотря на достаточное состояние жены, были расстроены.

Половина Москвы и Петербурга была родня и приятели Степана Аркадьича. Он родился в среде тех людей, которые были и стали сильными мира сего. Одна треть государственных людей, стариков, были приятелями его отца и знали его в рубашечке; другая треть были с ним на «ты», а третья треть были хорошие знакомые; следовательно, раздаватели земных благ в виде мест, аренд, концессий и тому подобного все были ему приятели и не могли обойти своего; и Облонскому не нужно было особенно стараться, чтобы получить выгодное место; нужно было только не отказываться, не завидовать, не ссориться, не обижаться, чего он, по свойственной ему доброте, никогда и не делал. Ему бы смешно показалось, если б ему сказали, что он не получит места с тем жалованьем, которое ему нужно, тем более что он и не требовал чего-нибудь чрезвычайного; он хотел только того, что получали его сверстники, а исполнять такого рода должность мог он не хуже всякого другого.

Степана Аркадьича не только любили все знавшие его за его добрый, веселый нрав и несомненную честность, но в нем, в его красивой, светлой наружности, блестящих глазах, черных бровях, волосах, белизне и румянце лица, было что-то, физически действовавшее дружелюбно и весело на людей, встречавшихся с ним. «Ага! Стива! Облонский! Вот и он!» – почти всегда с радостною улыбкой говорили, встречаясь с ним. Если и случалось иногда, что после разговора с ним оказывалось, что ничего особенно радостного не случилось, – на другой день, на трети опять точно так же все радовались при встрече с ним.

Занимая третий год место начальника одного из присутственных мест в Москве, Степан Аркадьич приобрел, кроме любви, и уважение сослуживцев, подчиненных, начальников и всех, кто имел до него дело. Главные качества Степана Аркадьича, заслужившие ему это общее уважение по службе, состояли, во-первых, в чрезвычайной снисходительности к людям, основанной в нем на сознании своих недостатков; во-вторых, в совершенной либеральности, не той, про которую он вычитал в газетах, но той, что у него была в крови и с которою он совершенно равно и одинаково относился ко всем людям, какого бы состояния и звания они ни были, и, в третьих, – главное – в совершенном равнодушии к тому делу, которым он занимался, вследствие чего он никогда не увлекался и не делал ошибок.

Приехав к месту своего служения, Степан Аркадьич, провожаемый почтительным швейцаром, с портфелем прошел в свой маленький кабинет, надел мундир и вошел в присутствие. Писцы и служащие все встали, весело и почтительно кланяясь. Степан Аркадьич поспешно, как всегда, прошел к своему месту, пожал руки членам и сел. Он пошутил и поговорил, ровно сколько это было прилично, и начал занятия. Никто вернее Степана Аркадьича не умел найти ту границу свободы, простоты и официальности, которая нужна для приятного занятия делами. Секретарь весело и почтительно, как и все в присутствии Степана Аркадьича, подошел с бумагами и проговорил тем фамильярно-либеральным тоном, который введен был Степаном Аркадьичем:

– Мы таки добились сведения из Пензенского губернского правления. Вот, не угодно ли...

– Получили наконец? – проговорил Степан Аркадьич, закладывая пальцем бумагу. – Ну-с, господа... – И присутствие началось.

«Если бы они знали, – думал он, с значительным видом склонив голову при слушании доклада, – каким виноватым мальчиком полчаса тому назад был их председатель!» – И глаза его смеялись при чтении доклада. До двух часов занятия должны были идти не прерываясь, а в два часа – перерыв и завтрак.

Еще не было двух часов, когда большие стеклянные двери залы присутствия вдруг открылись и кто-то вошел. Все члены из-под портрета и из-за зеркала, обрадовавшись развлечению, оглянулись на дверь; но сторож, стоявший у двери, тотчас же изгнал вошедшего и затворил за ним стеклянную дверь.

Когда дело было прочтено, Степан Аркадьич встал, потянувшись, и, отдавая дань либеральности времени, в присутствии достал папироску и пошел в свой кабинет. Два товарища его, старый служака Никитин и камер-юнкер Гриневич, вышли с ним.

– После завтрака успеем кончить, – сказал Степан Аркадьич.

– Как еще успеем! – сказал Никитин.

– А плут порядочный должен быть этот Фомин, – сказал Гриневич об одном из лиц, участвовавших в деле, которое они разбирали.

Степан Аркадьич поморщился на слова Гриневича, давая этим чувствовать, что неприлично преждевременно составлять суждение, и ничего ему не ответил.

– Кто это входил? – спросил он у сторожа.

– Какой-то, ваше превосходительство, без упроста влез, только я отвернулся. Вас спрашивали. Я говорю: когда выйдут члены, тогда...

– Где он?

– Нешто вышел в сени, а то все тут ходил. Этот самый, – сказал сторож, указывая на сильно сложенного широкоплечего человека с курчавой бородой, который, не снимая бараньей шапки, быстро и легко взбегал вверх по стертым ступенькам каменной лестницы. Один из сходявших вниз с портфелем худощавый чиновник, приостановившись, неодобрительно посмотрел на ноги бегущего и потом вопросительно взглянул на Облонского.

Степан Аркадьич стоял над лестницей. Добродушно сияющее лицо его из-за шитого воротника мундира просияло еще более, когда он узнал вбегавшего.

– Так и есть! Левин, наконец! – проговорил он с дружескою, насмешливою улыбкой, оглядывая подходившего к нему Левина. – Как это ты не побрезгал найти меня в этом *вертене*? – сказал Степан Аркадьич, не довольствуясь пожатием руки и целуя своего приятеля. – Давно ли?

– Я сейчас приехал, и очень хотелось тебя видеть, – отвечал Левин, застенчиво и вместе с тем сердито и беспокойно оглядываясь вокруг.

– Ну, пойдем в кабинет, – сказал Степан Аркадьич, знавший самолюбивую и озлобленную застенчивость своего приятеля; и, схватив его за руку, он повлек его за собой, как будто проводя между опасностями.

Степан Аркадьич был на «ты» со всеми почти своими знакомыми: со стариками шестидесяти лет, с мальчиками двадцати лет, с актерами, с министрами, с купцами и с генерал-адъютантами, так что очень многие из бывших с ним на «ты» находились на двух крайних пунктах общественной лестницы и очень бы удивились, узнав, что имеют через Облонского что-нибудь общее. Он был на «ты» со всеми, с кем пил шампанское, а пил он шампанское со всеми, и поэтому, в присутствии своих подчиненных встречаясь с своими *постыдными* «ты», как он называл шутя многих из своих приятелей, он, со свойственным ему тактом, умел уменьшать неприятность этого впечатления для подчиненных. Левин не был постыдный «ты», но Облон-

ский с своим тактом почувствовал, что Левин думает, что он пред подчиненными может не желать выказать свою близость с ним, и потому поторопился увести его в кабинет.

Левин был почти одних лет с Облонским и с ним на «ты» не по одному шампанскому. Левин был его товарищем и другом первой молодости. Они любили друг друга, несмотря на различие характеров и вкусов, как любят друг друга приятели, сошедшиеся в первой молодости. Но, несмотря на это, как часто бывает между людьми, избравшими различные роды деятельности, каждый из них, хотя, рассуждая, и оправдывал деятельность другого, в душе презирал ее. Каждому казалось, что та жизнь, которую он сам ведет, есть одна настоящая жизнь, а которую ведет приятель – есть только призрак. Облонский не мог удержать легкой насмешливой улыбки при Виде Левина. Уж который раз он видел его приезжавшим в Москву из деревни, где он что-то делал, но что именно, того Степан Аркадьич никогда не мог понять хорошенько, да и не интересовался. Левин приезжал в Москву всегда взволнованный, торопливый, немножко стесненный и раздраженный этою стесненностью и большею частью с совершенно новым, неожиданным взглядом на вещи. Степан Аркадьич смеялся над этим и любил это. Точно так же и Левин в душе презирал и городской обрез жизни своего приятеля, и его службу, которую считал пустяками, и смеялся над этим. Но разница была в том, что Облонский, делая, что все делают, смеялся самоуверенно и добродушно, а Левин не самоуверенно и иногда сердито.

– Мы тебя давно ждали, – сказал Степан Аркадьич, войдя в кабинет и выпустив руку Левина, как бы этим показывая, что тут опасности кончились. – Очень, очень рад тебя видеть, – продолжал он. – Ну, что ты? Как? Когда приехал?

Левин молчал, поглядывая на незнакомые ему лица двух товарищей Облонского и в особенности на руку элегантного Гриневича, с такими белыми тонкими пальцами, с такими длинными желтыми, загигавшимися в конце ногтями и такими огромными блестящими запонками на рубашке, что эти руки, видимо, поглощали все его внимание и не давали ему свободы мысли. Облонский тотчас заметил это и улыбнулся.

– Ах да, позвольте вас познакомить, – сказал он. – Мои товарищи: Филипп Иваныч Никитин, Михаил Станиславич Гриневич, – и обратившись к Левину: – Земский деятель, новый земский человек, гимнаст, поднимающий одною рукой пять пудов, скотовод и охотник и мой друг, Константин Дмитрич Левин, брат Сергея Иваныча Кознышева.

– Очень приятно, – сказал старичок.

– Имею честь знать вашего брата, Сергея Иваныча, – сказал Гриневич, подавая свою тонкую руку с длинными ногтями.

Левин нахмурился, холодно пожал руку и тотчас же обратился к Облонскому. Хотя он имел большое уважение к своему, известному всей России, одноутробному брату писателю, однако он терпеть не мог, когда к нему обращались не как к Константину Левину, а как к брату знаменитого Кознышева.

– Нет, я уже не земский деятель. Я со всеми разобрался и не езжу больше на собрания, – сказал он, обращаясь к Облонскому.

– Скоро же! – с улыбкой сказал Облонский. – Но как? отчего?

– Длинная история. Я расскажу когда-нибудь, – сказал Левин, но сейчас же стал рассказывать. – Ну, коротко сказать, я убедился, что никакой земской деятельности нет и быть не может, – заговорил он, как будто кто-то сейчас обидел его – с одной стороны, игрушка, играют в парламент, а я ни достаточно молод, ни достаточно стар, чтобы забавляться игрушками; а с другой (он заикнулся) стороны, это – средство для уездной coterie⁶ наживать деньжонки.⁷ Прежде

⁶ Здесь: шайки (фр.).

⁷ ...с другой (он заикнулся) стороны, это – средство для уездной coterie наживать деньжонки. – Левин высказывает идеи, весьма распространенные в демократической публицистике 70-х годов. Например, в журнале «Отечественные записки» в 1875 г. печаталась статья «Десятилетие русского земства», в которой, между прочим, говорилось: «...Безотрадная черта

опеки, суды, а теперь земство... не в виде взяток, а в виде незаслуженного жалованья, – говорил он так горячо, как будто кто-нибудь из присутствовавших оспаривал его мнение.

– Эге-ге! Да ты, я вижу, опять в новой фазе, в консервативной, – сказал Степан Аркадьич. – Но, впрочем, после об этом.

– Да, после. Но мне нужно было тебя видеть, – сказал Левин, с ненавистью вглядываясь в руку Гриневича.

Степан Аркадьич чуть заметно улыбнулся.

– Как же ты говорил, что никогда больше не наденешь европейского платья? – сказал он, оглядывая его новое, очевидно от французского портного, платье. – Так! я вижу: новая фаза.

Левин вдруг покраснел, но не так, как краснеют взрослые люди, – слегка, сами того не замечая, но так, как краснеют мальчишки, – чувствуя, что они смешны своей застенчивостью, и вследствие того стыдась и краснея еще больше, почти до слез. И так странно было видеть это умное, мужественное лицо в таком детском состоянии, что Облонский перестал смотреть на него.

– Да, где ж увидимся? Ведь мне очень, очень нужно поговорить с тобою, – сказал Левин. Облонский как будто задумался.

– Вот что: поедem к Гурину завтракать и там поговорим. До трех я свободен.

– Нет, – подумав, ответил Левин, – мне еще надо съездить.

– Ну, хорошо, так обедать вместе.

– Обедать? Да мне ведь ничего особенного, только два слова сказать, спросить, а после потолкуем.

– Так сейчас и скажи два слова, а беседовать за обедом.

– Два слова вот какие, – сказал Левин, – впрочем, ничего особенного.

Лицо его вдруг приняло злое выражение, происходившее от усилия преодолеть свою застенчивость.

– Что Щербацкие делают? Все по-старому? – сказал он.

Степан Аркадьич, знавший уже давно, что Левин был влюблен в его свояченицу Кити, чуть заметно улыбнулся, и глаза его весело заблестели.

– Ты сказал два слова, а я в двух словах ответить не могу, потому что... Извини на минутку...

Вошел секретарь с фамильярной почтительностью и некоторым, общим всем секретарям, скромным сознанием своего превосходства пред начальником в знании дел, подошел с бумагами к Облонскому и стал, под видом вопроса, объяснять какое-то затруднение. Степан Аркадьич, не дослушав, положил ласково свою руку на рукав секретаря.

– Нет, вы уж так сделайте, как я говорил, – сказал он, улыбкой смягчая замечание, и, кратко объяснив ему, как он понимает дело, отодвинул бумаги и сказал: – Так и сделайте, пожалуйста. Пожалуйста, так, Захар Никитич.

Сконфуженный секретарь удалился. Левин, во время совещания с секретарем совершенно оправившись от своего смущения, стоял, облокотившись обеими руками на стул, и на лице его было насмешливое внимание.

– Не понимаю, не понимаю, – сказал он.

– Чего ты не понимаешь? – так же весело улыбаясь и доставая папироску, сказал Облонский. Он ждал от Левина какой-нибудь странной выходки.

– Не понимаю, что вы делаете, – сказал Левин, пожимая плечами. – Как ты можешь это серьезно делать?

– Отчего?

в деятельности некоторых земств... это страсть к земской спекуляции, страсть к наживе, замечаемая в наиболее богатых и интеллигентных центрах русской земли. В этих центрах акции, облигации, чеки, закладные листы, полисы и варранты закрывают собою скромный лапотъ и серый зипун...» («Отечественные записки», 1875, № 10, с. 437).

– Да оттого, что нечего делать.
– Ты так думаешь, но мы завалены делом.
– Бумажным. Ну да, у тебя дар к этому, – прибавил Левин.
– То есть, ты думаешь, что у меня есть недостаток чего-то?
– Может быть, и да, – сказал Левин. – Но все-таки я люблю на твое величие и горжусь, что у меня друг такой великий человек. Однако ты мне не ответил на мой вопрос, – прибавил он, с отчаянным усилием прямо глядя в глаза Облонскому.

– Ну, хорошо, хорошо. Погоди еще, и ты придешь к этому. Хорошо, как у тебя три тысячи десятин в Каразинском уезде, да такие мускулы, да свежесть, как у двенадцатилетней девочки, – а придешь и ты к нам. Да, так о том, что ты спрашивал: перемены нет, но жаль, что ты так давно не был.

– А что? – испуганно спросил Левин.

– Да ничего, – отвечал Облонский. – Мы поговорим. Да ты зачем, собственно, приехал?

– Ах, об этом тоже поговорим после, – опять до ушей покраснев, сказал Левин.

– Ну хорошо. Понятно, – сказал Степан Аркадьич. – Ты видишь ли: я бы позвал к себе, но жена не совсем здорова. А вот что: если ты хочешь их видеть, они, наверное, нынче в Зоологическом саду от четырех до пяти. Кити на коньках катается. Ты поезжай туда, а я заеду, и вместе куда-нибудь обедать.

– Прекрасно. Ну, до свидания.

– Смотри же, ты ведь, я тебя знаю, забудешь или вдруг уедешь в деревню! – смеясь, прокричал Степан Аркадьич.

– Нет, верно.

И, вспомнив о том, что он забыл поклониться товарищам Облонского, только когда он был уже в дверях, Левин вышел из кабинета.

– Должно быть, очень энергический господин, – сказал Гриневич, когда Левин вышел.

– Да, батюшка, – сказал Степан Аркадьич, покачивая головой, – вот счастливец! Три тысячи десятин в Каразинском уезде⁸, все впереди, и свежести сколько! Не то что наш брат.

– Что ж вы-то жалуетесь, Степан Аркадьич?

– Да скверно, плохо, – сказал Степан Аркадьич, тяжело вздохнув.

VI

Когда Облонский спросил у Левина, зачем он, собственно, приехал, Левин покраснел и рассердился на себя за то, что покраснел, потому что он не мог ответить ему: «Я приехал сделать предложение твоей свояченице», хотя он приехал только за этим.

Дома Левиных и Щербацких были старые дворянские московские дома и всегда были между собою в близких и дружеских отношениях. Связь эта утвердилась еще больше во время студенчества Левина. Он вместе готовился и вместе поступил в университет с молодым князем Щербацким, братом Долли и Кити. В это время Левин часто бывал в доме Щербацких и влюбился в дом Щербацких. Как это ни странно может показаться, но Константин Левин был влюблен именно в дом, в семью, в особенности в женскую половину семьи Щербацких. Сам Левин не помнил своей матери, и единственная сестра его была старше его, так что в доме Щербацких он в первый раз увидел ту самую среду старого дворянского, образованного и честного семейства, которой он был лишен смертью отца и матери. Все члены этой семьи, в особенности женская половина, представлялись ему покрытыми какою-то таинственною, поэ-

⁸ ...три тысячи десятин в Каразинском уезде... – У Толстого в начале 70-х годов было около 750 десятин в Ясной Поляне и около 1200 десятин при селе Никольском-Вяземском. Ясно-полянские владения Толстого находились в Крапивенском уезде Тульской губернии (см.: С. Л. Толстой. Об отражении жизни в «Анне Карениной». – «Литературное наследство», т. 37/38. М., 1939, с. 572).

тической завесой, и он не только не видел в них никаких недостатков, но под этой поэтической, покрывавшей их завесой предполагал самые возвышенные чувства и всевозможные совершенства. Для чего этим трем барышням нужно было говорить через день по-французски и по-английски; для чего они в известные часы играли попеременно на фортепиано, звуки которого всегда слышались у брата наверху, где занимались студенты; для чего ездили эти учителя французской литературы, музыки, рисования, танцев; для чего в известные часы все три барышни с m-lle Linon подъезжали в коляске к Тверскому бульвару в своих атласных шубках – Долли в длинной, Натали в полудлинной, а Кити совершенно в короткой, так что статные ножки ее в туго натянутых красных чулках были на всем виду; для чего им, в сопровождении лакея с золотой кокардой на шляпе, нужно было ходить по Тверскому бульвару, – всего этого и многого другого, что делалось в их таинственном мире, он не понимал, но знал, что все, что там делалось, было прекрасно, и был влюблен именно в эту таинственность совершавшегося.

Во время своего студенчества он чуть было не влюбился в старшую, Долли, но ее вскоре выдали замуж за Облонского. Потом он начал было влюбляться во вторую. Он как будто чувствовал, что ему надо влюбиться в одну из сестер, только не мог разобрать, в какую именно. Но и Натали, только что показалась в свет, вышла замуж за дипломата Львова. Кити еще была ребенок, когда Левин вышел из университета. Молодой Щербацкий, поступив в моряки, утонул в Балтийском море, и сношения Левина с Щербацкими, несмотря на дружбу его с Облонским, стали более редки. Но когда в нынешнем году, в начале зимы, Левин приехал в Москву после года в деревне и увидел Щербацких, он понял, в кого из трех ему действительно суждено было влюбиться.

Казалось бы, ничего не могло быть проще того, чтобы ему, хорошей породы, скорее богатому, чем бедному человеку, тридцати двух лет, сделать предложение княжне Щербацкой; по всем вероятностям, его тотчас признали бы хорошею партией. Но Левин был влюблен, и поэтому ему казалось, что Кити была такое совершенство во всех отношениях, такое существо превыше всего земного, а он такое земное низменное существо, что не могло быть и мысли о том, чтобы другие и она сама признали его достойным ее.

Пробыв в Москве, как в чад, два месяца, почти каждый день видаясь с Кити в свете, куда он стал ездить, чтобы встречаться с нею, Левин внезапно решил, что этого не может быть, и уехал в деревню.

Убеждение Левина в том, что этого не может быть, основывалось на том, что в глазах родных он невыгодная, недостойная партия для прелестной Кити, а сама Кити не может любить его. В глазах родных он не имел никакой привычной, определенной деятельности и положения в свете, тогда как его товарищи теперь, когда ему было тридцать два года, были уже – который полковник и флигель-адъютант, который профессор, который почтенный предводитель – директор банка и железных дорог или председатель присутствия, как Облонский; он же (он знал очень хорошо, каким он должен был казаться для других) был помещик, занимающийся разведением коров, стрелянием дупелей и постройками, то есть бездарный малый, из которого ничего не вышло, и делающий, по понятиям общества, то самое, что делают никуда не годившиеся люди.

Сама же таинственная прелестная Кити не могла любить такого некрасивого, каким он считал себя, человека, и, главное, такого простого, ничем не выдающегося человека. Кроме того, его прежние отношения к Кити – отношения взрослого к ребенку, вследствие дружбы с ее братом, – казались ему еще новою преградой для любви. Некрасивого, доброго человека, каким он себя считал, можно, полагал он, любить как приятеля, но чтобы быть любимым тою любовью, какую он любил Кити, нужно было быть красавцем, а главное – особенным человеком.

Слышал он, что женщины любят часто некрасивых, простых людей, но не верил этому, потому что судил по себе, так как сам он мог любить только красивых, таинственных и особенных женщин.

Но, пробыв два месяца один в деревне, он убедился, что это не было одно из тех влюблений, которые он испытывал в первой молодости; что чувство это не давало ему минуты покоя; что он не мог жить, не решив вопроса: будет или не будет она его женой; и что его отчаяние происходило только от его воображения, что он не имеет никаких доказательств в том, что ему будет отказано. И он приехал теперь в Москву с твердым решением сделать предложение и жениться, если его примут. Или... он не мог думать о том, что с ним будет, если ему откажут.

VII

Приехав с утренним поездом в Москву, Левин остановился у своего старшего брата по матери Кознышева и, переодевшись, вошел к нему в кабинет, намереваясь тотчас же рассказать ему, для чего он приехал, и просить его совета: но брат был не один. У него сидел известный профессор философии, приехавший из Харькова, собственно, затем, чтобы разъяснить недопонимание, возникшее между ними по весьма важному философскому вопросу. Профессор вел жаркую полемику против материалистов, а Сергей Кознышев с интересом следил за этою полемикой и, прочтя последнюю статью профессора, написал ему в письме свои возражения; он упрекал профессора за слишком большие уступки материалистам. И профессор тотчас же приехал, чтобы столкнуться. Речь шла о модном вопросе: есть ли граница между психическими и физиологическими явлениями в деятельности человека и где она?⁹

Сергей Иванович встретил брата своего обычною для всех ласково-холодною улыбкой и, познакомив его с профессором, продолжал разговор.

Маленький желтый человечек в очках, с узким лбом, на мгновение отвлёкся от разговора, чтобы поздороваться, и продолжал речь, не обращая внимания на Левина. Левин сел в ожидании, когда уедет профессор, но скоро заинтересовался предметом разговора.

Левин встречал в журналах статьи, о которых шла речь, и читал их, интересуясь ими, как развитием знакомых ему, как естественнику, по университету основ естествознания, но никогда не сближал этих научных выводов о происхождении человека как животного¹⁰, о рефлекс-

⁹ Речь шла о модном вопросе: есть ли граница между психическими и физиологическими явлениями в деятельности человека и где она? – Толстой имеет в виду «жаркую полемику», которая началась на страницах журнала «Вестник Европы», где К. Д. Кавелин (1818–1885) напечатал работу «Задачи психологии» (1872), а И. М. Сеченов ответил ему статьей «Кому и как разрабатывать психологию» (1873). К. Д. Кавелин утверждал, что «непосредственной связи между психическими и материальными явлениями мы не знаем». И. М. Сеченов доказывал, что «все психические акты», совершающиеся «по тину рефлексов», должны подлежать «физиологическому исследованию». Кавелин так же, как «харьковский профессор» в романе, придерживался идеи «параллелизма», то есть тем самым признавал связь психических и физиологических явлений. Именно за эту «большую уступку материалистам» Кавелина упрекал Ю. Ф. Самарин: «Вы стоите на острие ножа и должны непременно склониться на ту или другую сторону, то есть окончательно усвоить себе материалистическое воззрение или взять назад многие из сделанных вами ему уступок» («Вестник Европы», 1875, V, с. 370). Толстой так же, как Левин, занимал в этом споре своеобразную, «личную» позицию: «Если бы мы могли слиться с верующими христианами или с отрицающими матерьялистами, мы и не обязаны были бы уяснять свое личное воззрение. А теперь я с радостью чувствую, что это и мой долг и мое влечение сердца...». (Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч. в 90-та томах, т. 62, с. 211) (В дальнейшем ссылки на это издание даются с указанием лишь тома и страницы.)

¹⁰ Левин встречал в журналах статьи... о происхождении человека как животного... – Книга Чарльза Дарвина (1809–1882) «Происхождение человека и подбор по отношению к полу» в русском переводе вышла в свет в 1871 г. (в 2-х томах, перевод с английского под ред. И. М. Сеченова. СПб., 1871). Пространные статьи о теории Дарвина, о «борьбе за существование», печатались в «Отечественных записках», «Вестнике Европы» и «Русском вестнике». В журнале «Заря» Н. Н. Страхов поместил критическую статью о Дарвине «Переворот в науке» («Заря», 1872, с. 1–18). Так же, как Левин, он искал ответы на «вопросы сердца» и не находил их в дарвинизме. Поэтому он и проходит мимо собственного научного смысла дарвинизма или же относится к нему резко отрицательно. Толстой читал Дарвина по-своему. К 70-м годам относится его запись на отдельном листе: «Отступления человека от добра-закона – наследственно. (Дарвин прав.)» (т. 48, с. 350). В романе «Анна Каренина» дарвинизмом интересуется и либеральный барин Облонский, который говорит: «...если уж гордиться породой, то не следует останавливаться на Рюрике и отрекаться от первого родоначальника – обезьяны».

сах, о биологии и социологии с теми вопросами о значении жизни и смерти для себя самого, которые в последнее время чаще и чаще приходили ему на ум.

Слушая разговор брата с профессором, он замечал, что они связывали научные вопросы с душевными, несколько раз почти подходили к этим вопросам, но каждый раз, как только они подходили близко к самому главному, как ему казалось, они тотчас же поспешно отдалялись и опять углублялись в область тонких подразделений, оговорок, цитат, намеков, ссылок на авторитеты, и он с трудом понимал, о чем речь.

– Я не могу допустить, – сказал Сергей Иванович с обычно ему ясностью и отчетливостью выражения и изяществом дикции, – я не могу ни в каком случае согласиться с Кейсом, чтобы все мое представление о внешнем мире вытекало из впечатлений. Самое основное понятие *бытия* получено мною не чрез ощущение, ибо нет и специального органа для передачи этого понятия.

– Да, но они, Вурст, и Кнауэ, и Припасов¹¹, ответят вам, что ваше сознание бытия вытекает из совокупности всех ощущений, что это сознание бытия есть результат ощущений. Вурст даже прямо говорит, что, коль скоро нет ощущения, нет и понятия бытия.

– Я скажу наоборот, – начал Сергей Иванович...

Но тут Левину опять показалось, что они, подойдя к самому главному, опять отходят, и решился предложить профессору вопрос.

– Стало быть, если чувства мои уничтожены, если тело мое умрет, существования никакого уж не может быть? – спросил он.

Профессор с досадой и как будто умственной болью от перерыва оглянулся на странного вопрошателя, похожего более на бурлака, чем на философа, и перенес глаза на Сергея Ивановича, как бы спрашивая: что ж тут говорить? Но Сергей Иванович, который далеко не с тем усилием и односторонностью говорил, как профессор, и у которого в голове оставался простор для того, чтоб и отвечать профессору, и вместе понимать ту простую и естественную точку зрения, с которой был сделан вопрос, улыбнулся и сказал:

– Этот вопрос мы не имеем еще права решать...

– Не имеем данных, – подтвердил профессор и продолжал свои доводы. – Нет, – говорил он, – я указываю на то, что если, как прямо говорит Припасов, ощущение и имеет своим основанием впечатление, то мы должны строго различать эти два понятия.

Левин не слушал больше и ждал, когда уедет профессор.

VIII

Когда профессор уехал, Сергей Иванович обратился к брату:

– Очень рад, что ты приехал. Надолго? Что хозяйство.

Левин знал, что хозяйство мало интересует старшего брата и что он, только делая ему уступку, спросил его об этом, и потому ответил только о продаже пшеницы и деньгах.

Левин хотел сказать брату о своем намерении жениться и спросить его совета, он даже твердо решился на это; но когда он увидел брата, послушал его разговора с профессором, когда услышал потом этот невольно покровительственный тон, с которым брат расспрашивал его о хозяйственных делах (материнское имение их было неделимое, и Левин заведовал обеими частями), Левин почувствовал, что не может почему-то начать говорить с братом о своем решении жениться. Он чувствовал, что брат его не так, как ему бы хотелось, посмотрит на это.

– Ну, что у вас земство, как? – спросил Сергей Иванович, который очень интересовался земством и приписывал ему большое значение.

– А, право, не знаю...

¹¹ Кейс, Вурст, Кнауэ и Припасов – имена вымышленные и пародийные.

– Как? Ведь ты член управы?

– Нет, уже не член; я вышел, – отвечал Константин Левин, – и не езжу больше на собрания.

– Жалко! – промолвил Сергей Иванович, нахмурившись.

Левин в оправдание стал рассказывать, что делалось на собраниях в его уезде.

– Вот это всегда так! – перебил его Сергей Иванович, – Мы, русские, всегда так. Может быть, это и хорошая наша черта – способность видеть свои недостатки, но мы пересаливаем, мы утешаемся иронией, которая у нас всегда готова на языке. Я скажу тебе только, что дай эти же права, как наши земские учреждения, другому европейскому народу, – немцы и англичане выработали бы из них свободу, а мы вот только смеемся.

– Но что же делать? – виновато сказал Левин. – Это был мой последний опыт. И я от всей души пытался. Не могу. Неспособен.

– Не способен, – сказал Сергей Иванович, – ты не так смотришь на дело.

– Может быть, – уныло отвечал Левин.

– А ты знаешь, брат Николай опять тут.

Брат Николай был родной и старший брат Константина Левина и одноутробный брат Сергея Ивановича, погибший человек, промотавший большую долю своего состояния, вращавшийся в самом странном и дурном обществе и поссорившийся с братьями.

– Что ты говоришь? – с ужасом вскрикнул Левин. – Почему ты знаешь?

– Прокофий видел его на улице.

– Здесь, в Москве? Где он? Ты знаешь? – Левин встал со стула, как бы собираясь тотчас же идти.

– Я жалею, что сказал тебе это, – сказал Сергей Иванович, покачивая головой на волнение меньшего брата. – Я посылал узнать, где он живет, и послал ему вексель его Трубину, по которому я заплатил. Вот что он мне ответил.

И Сергей Иванович подал брату записку из-под пресс-папье.

Левин прочел написанное странным, родным ему почерком: «Прошу покорно оставить меня в покое. Это одно, чего я требую от своих любезных братцев. Николай Левин.

Левин прочел это и, не поднимая головы, с запиской в руках стоял пред Сергеем Ивановичем.

В душе его боролись желание забыть теперь о несчастном брате и сознание того, что это будет дурно.

– Он, очевидно, хочет оскорбить меня, – продолжал Сергей Иванович, – но оскорбить меня он не может, и я всей душой желал бы помочь ему, но знаю, что этого нельзя сделать.

– Да, да, – повторял Левин. – Я понимаю и ценю твое отношение к нему; но я поеду к нему.

– Если тебе хочется, съезди, но я не советую, – сказал Сергей Иванович. – То есть в отношении ко мне я этого не боюсь, он тебя не поссорит со мной; но для тебя, я советую тебе лучше не ездить. Помочь нельзя. Впрочем, делай как хочешь.

– Может быть, и нельзя помочь, но я чувствую, особенно в эту минуту – ну да это другое – я чувствую, что я не могу быть спокоен.

– Ну, этого я не понимаю, – сказал Сергей Иванович. – Одно я понимаю, – прибавил он, – это урок смирения. Я иначе и снисходительнее стал смотреть на то, что называется подлостью, после того как брат Николай стал тем, что он есть... Ты знаешь, что он сделал...

– Ах, это ужасно, ужасно! – повторял Левин.

Получив от лакея Сергея Ивановича адрес брата, Левин тотчас же собрался ехать к нему, но, обдумав, решил отложить свою поездку до вечера. Прежде всего, для того чтобы иметь душевное спокойствие, надо было решить то дело, для которого он приехал в Москву. От брата

Левин поехал в присутствие Облонского и, узнав о Щербацких, поехал туда, где ему сказали, что он может застать Кити.

IX

В 4 часа, чувствуя свое бьющееся сердце, Левин слез с извозчика у Зоологического сада и пошел дорожкой к горам и катку, наверное зная, что найдет ее там, потому что видел карету Щербацких у подъезда.

Был ясный морозный день. У подъезда рядами стояли кареты, сани, ваньки, жандармы. Чистый народ, блестя на ярком солнце шляпами, кишел у входа и по расчищенным дорожкам, между русскими домиками с резными князьками; старые кудрявые березы сада, обвисшие всеми ветвями от снега, казалось, были разубраны в новые торжественные ризы.

Он шел по дорожке к катку и говорил себе: «Надо не волноваться, надо успокоиться. О чем ты? Чего ты? Молчи, глупое», – обращался он к своему сердцу. И чем больше он старался себя успокоить, тем все хуже захватывало ему дыхание. Знакомый встретился и окликнул его, но Левин даже не узнал, кто это был. Он подошел к горам, на которых гремели цепи спускаемых и поднимаемых салазок, грохотали катившиеся салазки и звучали веселые голоса. Он прошел еще несколько шагов, и пред ним открылся каток, и тотчас же среди всех катавшихся он узнал ее.

Он узнал, что она тут, по радости и страху, охватившим его сердце. Она стояла, разговаривая с дамой, на противоположном конце катка. Ничего, казалось, но было особенного ни в ее одежде, ни в ее позе; но для Левина так же легко было узнать ее в этой толпе, как розан в крапиве. Все освещалось ею. Она была улыбка, озарявшая все вокруг. «Неужели я могу сойти туда, на лед, подойти к ней?» – подумал он. Место, где она была, показалось ему недоступною святыней, и была минута, что он чуть не ушел: так страшно ему стало. Ему нужно было сделать усилие над собой и рассудить, что около нее ходят всякого рода люди, что и сам он мог прийти туда кататься на коньках. Он сошел вниз, избегая подолгу смотреть на нее, как на солнце, но он видел ее, как солнце, и не глядя.

На льду собирались в этот день недели и в эту пору дня люди одного кружка, все знакомые между собою. Были тут и мастера кататься, щеголявшие искусством, и учившиеся за креслами, с робкими неловкими движениями, и мальчики, и старые люди, катавшиеся для гигиенических целей; все казались Левину избранными счастливыми, потому что они были тут, вблизи от нее. Все катавшиеся, казалось, совершенно равнодушно обгоняли, догоняли ее, даже говорили с ней и совершенно независимо от нее веселились, пользуясь отличным льдом и хорошею погодой.

Николай Щербацкий, двоюродный брат Кити, в коротенькой жакетке и узких панталонах, сидел с коньками на ногах на скамейке и, увидав Левина, закричал ему:

– А, первый русский конькобежец! Давно ли? Отличный лед, надевайте же коньки.

– У меня и коньков нет, – отвечал Левин, удивляясь этой смелости и развязности в ее присутствии и ни на секунду не теряя ее из вида, хотя и не глядел на нее. Он чувствовал, что солнце приближалось к нему. Она была на угле и, тупо поставив узкие ножки в высоких ботинках, видимо робея, катилась к нему. Отчаянно махавший руками и пригибавшийся к земле мальчик в русском платье обгонял ее. Она катилась не совсем твердо; вынув руки из маленькой муфты, висевшей на шнурке, она держала их наготове и, глядя на Левина, которого она узнала, улыбалась ему и своему страху. Когда поворот кончился, она дала себе толчок упругою ножкой и подкатилась прямо к Щербацкому; и, ухватившись за него рукой, улыбаясь, кивнула Левину. Она была прекраснее, чем он воображал ее.

Когда он думал о ней, он мог себе живо представить ее всю, в особенности прелесть этой, с выражением детской ясности и доброты, небольшой белокурой головки, так свободно

поставленной на статных девичьих плечах. Детскость выражения ее лица в соединении с тонкой красотой стана составляли ее особенную прелесть, которую он хорошо помнил; но что всегда, как неожиданность, поражало в ней, это было выражение ее глаз, кротких, спокойных и правдивых, и в особенности ее улыбка, всегда переносившая Левина в волшебный мир, где он чувствовал себя умиленным и смягченным, каким он мог запомнить себя в редкие дни своего раннего детства.

– Давно ли вы здесь? – сказала она, подавая ему руку. – Благодарствуйте, – прибавила она, когда он поднял платок, выпавший из ее муфты.

– Я? я недавно, я вчера... нынче то есть... приехал, – отвечал Левин, не вдруг от волнения поняв ее вопрос. – Я хотел к вам ехать, – сказал он и тотчас же, вспомнив, с каким намерением он искал ее, смутился и покраснел. – Я не знал, что вы катаетесь на коньках, и прекрасно катаетесь.

Она внимательно посмотрела на него, как бы желая понять причину его смущения.

– Вашу похвалу надо ценить. Здесь сохранились предания, что вы лучший конькобежец, – сказала она, стряхивая маленькою ручкой в черной перчатке иглы инея, упавшие на муфту.

– Да, я когда-то со страстью катался; мне хотелось дойти до совершенства.

– Вы все, кажется, делаете со страстью, – сказала она, улыбаясь. – Мне так хочется посмотреть, как вы катаетесь. Надевайте же коньки, и давайте кататься вместе.



«Кататься вместе! Неужели это возможно?» – думал Левин, глядя на нее.

– Сейчас надену, – сказал он.

И он пошел надевать коньки.

– Давно не бывали у нас, сударь, – говорил катальщик, поддерживая ногу и навинчивая каблук. – После вас никого из господ мастеров нету. Хорошо ли так будет? – говорил он, натягивая ремень.

– Хорошо, хорошо, поскорей, пожалуйста, – отвечал Левин, с трудом удерживая улыбку счастья, выступавшую невольно на его лице. «Да, – думал он, – вот это жизнь, вот это счастье! Вместе, сказала она, давайте кататься вместе. Сказать ей теперь? Но ведь я оттого и боюсь

сказать, что теперь я счастлив, счастлив хоть надеждой... А тогда?.. Но надо же! надо, надо! Прочь слабость!»



Левин стал на ноги, снял пальто и, разбежавшись по шершавому у домика льду, выбежал на гладкий лед и покатился без усилия, как будто одною своею волей убыстряя, укорачивая и направляя бег. Он приблизился к ней с робостью, но опять ее улыбка успокоила его.

Она подала ему руку, и они пошли рядом, прибавляя хода, и чем быстрее, тем крепче она сжимала его руку.

– С вами я бы скорее выучилась, я почему-то уверена в вас, – сказала она ему.

– И я уверен в себе, когда вы опираетесь на меня, – сказал он, но тотчас же испугался того, что сказал, и покраснел. И действительно, как только он произнес эти слова, вдруг, как солнце зашло за тучи, лицо ее утратило всю свою ласковость, и Левин узнал знакомую игру ее лица, означавшую усилие мысли: на гладком лбу ее вспухла морщинка.

– У вас нет ничего неприятного? Впрочем, я не имею права спрашивать, – быстро проговорил он.

– Отчего же?.. Нет, у меня ничего нет неприятного, – отвечала она холодно и тотчас же прибавила: – Вы не видели mademoiselle Linon?

– Нет еще.

– Подите к ней, она так вас любит.

«Что это? Я огорчил ее. Господи, помоги мне!» – подумал Левин и побежал к старой француженке с седыми букольками, сидевшей на скамейке. Улыбаясь и выставляя свои фальшивые зубы, она встретила его, как старого друга.

– Да, вот растем, – сказала она ему, указывая глазами на Кити, – и стареем. Tiny bear¹² уже стал большой! – продолжала француженка, смеясь, и напомнила ему его шутку о трех барышнях, которых он называл тремя медведями из английской сказки. – Помните, вы, бывало, так говорили?

¹² Медвежонок (англ.).

Он решительно не помнил этого, но она уже лет десять смеялась этой шутке и любила ее.
– Ну, идите, идите кататься. А хорошо стала кататься наша Кити, не правда ли?

Когда Левин опять подбежал к Кити, лицо ее уже было не строго, глаза смотрели так же правдиво и ласково, но Левину показалось, что в ласковости ее был особенный, умышленно спокойный тон. И ему стало грустно. Поговорив о своей старой гувернантке, о ее странностях, она спросила его о его жизни.

– Неужели вам не скучно зимою в деревне? – сказала она.

– Нет, не скучно, я очень занят, – сказал он, чувствуя, что она подчиняет его своему спокойному тону, из которого он не в силах будет выйти, так же как это было в начале зимы.

– Вы надолго приехали? – спросила его Кити.

– Я не знаю, – отвечал он, не думая о том, что говорит. Мысль о том, что если он поддается этому ее тону спокойной дружбы, то он опять уедет, ничего не решив, пришла ему, и он решился возмутиться.

– Как не знаете?

– Не знаю. Это от вас зависит, – сказал он и тотчас же ужаснулся своим словам.

Не слыхала ли она его слов или не хотела слышать, но она как бы спотыкнулась, два раза стукнув ножкой, и поспешно покатила прочь от него. Она подкатилась к m-lle Linon, что-то сказала ей и направилась к домику, где дамы снимали коньки.

«Боже мой, что я сделал! Господи боже мой! помоги мне, научи меня», – говорил Левин, молясь и вместе с тем чувствуя потребность сильного движения, разбегаясь и выписывая внешние и внутренние круги.

В это время один из молодых людей, лучший из новых конькобежцев, с папироской во рту, в коньках, вышел из кофейной и, разбежавшись, пустился на коньках вниз по ступеням, громыхая и подпрыгивая. Он влетел вниз и, не изменив даже свободного положения рук, покати́лся по льду.

– Ах, это новая штука! – сказал Левин и тотчас же побежал наверх, чтобы сделать эту новую штуку.

– Не убейтесь, надо привычку! – крикнул ему Николай Щербацкий.

Левин вошел на приступки, разбежался сверху сколько мог и пустился вниз, удерживая в непривычном движении равновесие руками. На последней ступени он зацепился, но, чуть дотронувшись до льда рукой, сделал сильное движение, справился и, смеясь, покати́лся дальше.

«Славный, милый», – подумала Кити в это время, выходя из домика с m-lle Linon и глядя на него с улыбкою тихой ласки, как на любимого брата. «И неужели я виновата, неужели я сделала что-нибудь дурное? Они говорят: кокетство. Я знаю, что я люблю не его; но мне все-таки весело с ним, и он такой славный. Только зачем он это сказал?..» – думала она.

Увидав уходившую Кити и мать, встречавшую ее на ступеньках, Левин, покрасневший после быстрого движения, остановился и задумался. Он снял коньки и догнал у выхода сада мать с дочерью.

– Очень рада вас видеть, – сказала княгиня. – Четверги, как всегда, мы принимаем.

– Стало быть, нынче?

– Очень рады будем видеть вас, – сухо сказала княгиня.

Сухость эта огорчила Кити, и она не могла удержаться от желания загладить холодность матери. Она повернула голову и с улыбкой проговорила:

– До свидания.

В это время Степан Аркадьич, со шляпой набоку, блестя лицом и глазами, веселым победителем входил в сад. Но, подойдя к теще, он с грустным виноватым лицом отвечал на ее вопросы о здоровье Долли. Поговорив тихо и уныло с тещей, он выпрямил грудь и взял под руку Левина.

– Ну что ж, едем? – спросил он. – Я все о тебе думал, и я очень, очень рад, что ты приехал, – сказал он, с значительным видом глядя ему в глаза.

– Едем, едем, – отвечал счастливый Левин, не перестававший слышать звук голоса, сказавший: «До свидания», и видеть улыбку, с которою это было сказано.

– В «Англию» или в «Эрмитаж»?

– Мне все равно.

– Ну, в «Англию»¹³, – сказал Степан Аркадьич, выбрав «Англию» потому, что там он, в «Англии», был более должен, чем в «Эрмитаже». Он потому считал нехорошим избегать эту гостиницу. – У тебя есть извозчик? Ну и прекрасно, а то я отпустил карету.

Всю дорогу приятели молчали. Левин думал о том, что означала эта перемена выражения на лице Кити, и то уверял себя, что есть надежда, то приходил в отчаяние и ясно видел, что его надежда безумна, а между тем чувствовал себя совсем другим человеком, не похожим на того, каким он был до ее улыбки и слова *до свидания*.

Степан Аркадьич дорогой сочинял *меню*.

– Ты ведь любишь тюрбо?¹⁴ – сказал он Левину, подъезжая.

– Что? – переспросил Левин. – Тюрбо? Да, я *ужасно* люблю тюрбо.

Х

Когда Левин вошел с Облонским в гостиницу, он не мог не заметить некоторой особенности выражения, как бы сдержанного сияния, на лице и во всей фигуре Степана Аркадьича. Облонский снял пальто и в шляпе набекрень прошел в столовую, отдавая приказания липнувшим к нему татарам во фраках и с салфетками. Кланяясь направо и налево нашедшимся и тут, как везде, радостно встречавшим его знакомым, он подошел к буфету, закусил водку рыбкой и что-то такое сказал раскрашенной, в ленточках, кружевах и завитушках француженке, сидевшей за конторкой, что даже эта француженка искренно засмеялась. Левин же только оттого не выпил водки, что ему оскорбительна была эта француженка, вся составленная, казалось, из чужих волос, *poudre de riz* и *vinaigre de toilette*¹⁵. Он, как от грязного места, поспешно отошел от нее. Вся душа его была переполнена воспоминанием о Кити, и в глазах его светилась улыбка торжества и счастья.

– Сюда, ваше сиятельство, пожалуйста, здесь не беспокоят, ваше сиятельство, – говорил особенно липнувший старый белесый татарин с широким тазом и расходившимися над ним фалдами фрака. – Пожалуйста шляпу, ваше сиятельство, – говорил он Левину, в знак почтения к Степану Аркадьичу ухаживая и за его гостем.

Мгновенно расстелив свежую скатерть на покрытый уже скатертью круглый стол под бронзовым бра, он пододвинул бархатные стулья и остановился пред Степаном Аркадьичем с салфеткой и карточкой в руках, ожидая приказаний.

– Если прикажете, ваше сиятельство, отдельный кабинет сейчас опростается: князь Голицын с дамой. Устрицы свежие получены.

– А! устрицы.

Степан Аркадьич задумался.

– Не изменить ли план, Левин? – сказал он, остановив палец на карте. И лицо его выражало серьезное недоумение. – Хороши ли устрицы? Ты смотри!

¹³ Ну, в «Англию»... – Московская гостиница «Англия» помещалась на Петровке. Эта гостиница пользовалась дурной репутацией (см.: А. Ф. Тютчева. При дворе двух императоров. Дневник 1855–1882. М., 1929, с. 233).

¹⁴ Ты ведь любишь тюрбо? – Тюрбо – блюдо французской кухни, особым образом приготовленная рыба (франц. *turbot*), ценившаяся гурманами. «Тюрбо, братец, привезли!» – восклицают щедринские жуиры (М. Е. Салтыков-Щедрин. Собр. соч., т. XII. М., 1938, с. 412).

¹⁵ Рисовой пудры и туалетного уксуса (*фр.*).

- Фленсбургские, ваше сиятельство, остендских нет.
- Фленсбургские-то фленсбургские, да свежи ли?
- Вчера получены-с.
- Так что ж, не начать ли с устриц, а потом уж и весь план изменить? А?
- Мне все равно. Мне лучше всего щи и каша; но ведь здесь этого нет.
- Каша а ла рюсс, прикажете? – сказал татарин, как няня над ребенком, нагибаясь над

Левиным.

– Нет, без шуток; что ты выберешь, то и хорошо. Я побегал на коньках, и есть хочется. И не думай, – прибавил он, заметив на лице Облонского недовольное выражение, – чтоб я не оценил твоего выбора. Я с удовольствием поем хорошо.

– Еще бы! Что ни говори, это одно из удовольствий жизни, – сказал Степан Аркадьич. – Ну, так дай ты нам, братец ты мой, устриц два, или мало – три десятка, суп с кореньями...

– Прентаньер, – подхватил татарин. Но Степан Аркадьич, видно, не хотел ему доставлять удовольствие называть по-французски кушанья.

– С кореньями, знаешь? Потом тюрбо под густым соусом, потом... ростбифу; да смотри, чтобы хорош был. Да каплунов, что ли, ну и консервов.

Татарин, вспомнив манеру Степана Аркадьича не называть кушанья по французской карте, не повторял за им, но доставил себе удовольствие повторить весь заказ по карте: «Суп прентаньер, тюрбо сос Бомарше, пулард а лестрагон, маседуан де фрюи...» – и тотчас, как на пружинах, положив одну переплетенную карту и подхватив другую, карту вин, поднес ее Степану Аркадьичу.

- Что же пить будем?
- А что хочешь, только немного, шампанское, – сказал Левин.
- Как? сначала? А впрочем, правда, пожалуй. Ты любишь с белой печатью?
- Каше блан, – подхватил татарин.
- Ну, так этой марки к устрицам подай, а там видно будет.
- Слушаю-с. Столового какого прикажете?
- Ньюи подай. Нет, уж лучше классический шабли.
- Слушаю-с. Сыру *вашего* прикажете?
- Ну да, пармезан. Или ты другой любишь?
- Нет, мне все равно, – не в силах удерживать улыбки, говорил Левин.

И татарин с развешивающимися фалдами над широким тазом побежал и чрез пять минут влетел с блюдом открытых на перламутровых раковинах устриц и с бутылкой между пальцами.

Степан Аркадьич смял накрахмаленную салфетку, засунул ее себе за жилет и, положив покойно руки, взялся за устрицы.

– А недурны, – говорил он, сдирая серебряною вилочкой с перламутровой раковины шлюпающих устриц и проглатывая их одну за другой. Недурны, – повторял он, вскидывая влажные и блестящие глаза то на Левина, то на татарина.

Левин ел и устрицы, хотя белый хлеб с сыром был ему приятнее. Но он любовался на Облонского. Даже татарин, отвинтивший пробку и разливавший игристое вино по разлатым тонким рюмкам¹⁶, с заметной улыбкой удовольствия, поправляя свой белый галстук, поглядывал на Степана Аркадьича.

– А ты не очень любишь устрицы? – сказал Степан Аркадьич, выпивая свой бокал, – или ты озабочен? А?

Ему хотелось, чтобы Левин был весел. Но Левин не то что был не весел, он был стеснен. С тем, что было у него в душе, ему жутко и неловко было в трактире, между кабинетами, где

¹⁶ ...вино по разлатым тонким рюмкам... – Разлатые рюмки – высокие и плоские рюмки для шампанского.

обедали с дамами, среди этой беготни и суетни; эта обстановка бронз, зеркал, газа, татар – все это было ему оскорбительно. Он боялся запачкать то, что переполняло его душу.

– Я? Да, я озабочен; но, кроме того, меня это все стесняет, – сказал он. – Ты не можешь представить себе, как для меня, деревенского жителя, все это дико, как ногти того господина, которого я видел у тебя...

– Да, я видел, что ногти бедного Гриневича тебя очень заинтересовали, – смеясь, сказал Степан Аркадьич.

– Не могу, – отвечал Левин. – Ты постарайся, войди в меня, стань на точку зрения деревенского жителя. Мы в деревне стараемся привести свои руки в такое положение, чтоб удобно было ими работать; для этого обстригаем ногти, засучиваем иногда рукава. А тут люди нарочно отпускают ногти, насколько они могут держаться, и прицепляют в виде запонок блюдечки, чтоб уж ничего нельзя было делать руками.

Степан Аркадьич весело улыбался.

– Да, это признак того, что грубый труд ему не нужен. У него работает ум...

– Может быть. Но все-таки мне дико, так же как мне дико теперь то, что мы, деревенские жители, стараемся поскорее наесться, чтобы быть в состоянии делать свое дело, а мы с тобой стараемся как можно дольше не наесться и для этого едим устрицы...

– Ну, разумеется, – подхватил Степан Аркадьич. – Но в этом-то и цель образования: из всего сделать наслаждение.

– Ну, если это цель, то я желал бы быть диким.

– Ты и так дик. Вы все, Левины, дики.¹⁷

Левин вздохнул. Он вспомнил о брате Николае, и ему стало совестно и больно, и он нахмурился; но Облонский заговорил о таком предмете, который тотчас же отвлек его.

– Ну что ж, поедешь нынче вечером к нашим, к Щербацким то есть? – сказал он, отодвигая пустые шершавые раковины, придвигая сыр и значительно блестя глазами.

– Да, я непременно поеду, – отвечал Левин. – Хотя мне показалось, что княгиня неохотно звала меня.

– Что ты! Вздор какой! Это ее манера... Ну давай же, братец, суп!.. Это ее манера, *grande dame*¹⁸, – сказал Степан Аркадьич. – Я тоже приеду, но мне на спевку к графине Баниной надо. Ну как же ты не дик? Чем же объяснить то, что ты вдруг исчез из Москвы? Щербацкие меня спрашивали о тебе беспрестанно, как будто я должен знать. А я знаю только одно: ты делаешь всегда то, чего никто не делает.

– Да, – сказал Левин медленно и взволнованно. – Ты прав, я дик. Но только дикость моя не в том, что я уехал, а в том, что я теперь приехал. Теперь я приехал...

– О, какой ты счастливеец! – подхватил Степан Аркадьич, глядя в глаза Левину.

– Отчего?

– Узнаю коней ретивых по каким-то их таврам¹⁹, юношей влюбленных узнаю по их глазам, – продекламировал Степан Аркадьич. – У тебя все впереди.

– А у тебя разве уж назади?

– Нет, хоть не назади, но у тебя будущее, а у меня настоящее, и настоящее так, в пере-сыпочку.

¹⁷ *Вы все, Левины, дики.* – «Дикость» в смысле оригинальности поступков и мнений, независимости от общепринятых правил была характерной чертой и «всех Толстых»: «В вас есть общая нам толстовская дикость», – писал Л. Н. Толстой в письме к А. А. Толстой, которая, со своей стороны, называла его «рыкающим Львом» («Переписка Л. Н. Толстого с А. А. Толстой». СПб., 1911, с. 44, с. 217).

¹⁸ *Важной дамы (фр.).*

¹⁹ *Узнаю коней ретивых по каким-то их таврам...* («Узнаю коней ретивых по их выжженным таврам...») – Облонский дважды (и оба раза неточно) цитирует Пушкина («Из Анакреона»), сначала в разговоре с Левиным (гл. X), а потом при встрече с Вронским (гл. XVII).

– А что?

– Да нехорошо. Ну, да я о себе не хочу говорить, и к тому же объяснить всего нельзя, – сказал Степан Аркадьич. – Так ты зачем же приехал в Москву?.. Эй, принимай! – крикнул он татарину.

– Ты догадываешься? – отвечал Левин, не спуская со Степана Аркадьича своих в глубине светящихся глаз.

– Догадываюсь, но не могу начать говорить об этом. Уж по этому ты можешь видеть, верно или не верно я догадываюсь, – сказал Степан Аркадьич, с тонкою улыбкой глядя на Левина.

– Ну что же ты скажешь мне? – сказал Левин дрожащим голосом и чувствуя, что на лице его дрожат все мускулы. – Как ты смотришь на это?

Степан Аркадьич медленно выпил свой стакан шабли, не спуская глаз с Левина.

– Я? – сказал Степан Аркадьич, – я ничего так не желал бы, как этого, ничего. Это лучшее, что могло бы быть.

– Но ты не ошибаешься? Ты знаешь, о чем мы говорим? – проговорил Левин, впиваясь глазами в своего собеседника. – Ты думаешь, что это возможно?

– Думаю, что возможно. Отчего же невозможно?

– Нет, ты точно думаешь, что это возможно? Нет, ты скажи все, что ты думаешь! Ну, а если, если меня ждет отказ?.. И я даже уверен...

– Отчего же ты это думаешь? – улыбаясь на его волнение, сказал Степан Аркадьич.

– Так мне иногда кажется. Ведь это будет ужасно и для меня и для нее.

– Ну, во всяком случае, для девушки тут ничего ужасного нет. Всякая девушка гордится предложением.

– Да, всякая девушка, но не она.

Степан Аркадьич улыбнулся. Он так знал это чувство Левина, знал, что для него все девушки в мире разделяются на два сорта: один сорт – это все девушки в мире, кроме ее, и эти имеют все человеческие слабости, и девушки очень обыкновенные; другой сорт – она одна, не имеющая никаких слабостей и превыше всего человеческого.

– Постой, соуса возьми, – сказал он, удерживая руку Левина, который отталкивал от себя соус.

Левин покорно положил себе соус, но не дал есть Степану Аркадьичу.

– Нет, ты постой, постой, – сказал он. – Ты пойми, что это для меня вопрос жизни и смерти. Я никогда ни с кем не говорил об этом. И ни с кем я не могу говорить об этом, как с тобою. Ведь вот мы с тобой по всему чужие: другие вкусы, взгляды, все; но я знаю, что ты меня любишь и понимаешь, и от этого я тебя ужасно люблю. Но ради бога, будь вполне откровенен.

– Я тебе говорю, что я думаю, – сказал Степан Аркадьич, улыбаясь. – Но я тебе больше скажу; моя жена – удивительнейшая женщина... – Степан Аркадьич вздохнул, вспомнив о своих отношениях с женою, и, помолчав с минутку, продолжал: – У нее есть дар предвидения. Она насквозь видит людей; но этого мало, – она знает, что будет, особенно по части браков. Она, например, предсказала, что Шаховская выйдет за Брендельна. Никто этому верить не хотел, а так вышло. И она – на твоей стороне.

– То есть как?

– Так, что она мало того что любит тебя, – она говорит, что Кити будет твоею женой непременно.

При этих словах лицо Левина вдруг просияло улыбкой, тою, которая близка к слезам умиления.

– Она это говорит! – вскрикнул Левин. – Я всегда говорил, что она прелесть, твоя жена. Ну и довольно, довольно об этом говорить, – сказал он, вставая с места.

– Хорошо, но садись же, вот и суп.

Но Левин не мог сидеть. Он прошелся два раза своими твердыми шагами по клеточке-комнате, помигал глазами, чтобы не видно было слез, и тогда только сел опять за стол.

– Ты пойми, – сказал он, – что это не любовь. Я был влюблен, но это не то. Это не мое чувство, а какая-то сила внешняя завладела мной. Ведь я уехал, потому что решил, что этого не может быть, понимаешь, как счастья, которого не бывает на земле; но я бился с собой и вижу, что без этого нет жизни. И надо решить...

– Для чего же ты уезжал?

– Ах, постой! Ах, сколько мыслей! Сколько надо спросить! Послушай. Ты ведь не можешь представить себе, что ты сделал для меня тем, что сказал. Я так счастлив, что даже гадок стал; я все забыл... Я нынче узнал, что брат Николай... знаешь, он тут... я и про него забыл. Мне кажется, что и он счастлив. Это вроде сумасшествия. Но одно ужасно... Вот ты женился, ты знаешь это чувство... Ужасно то, что мы – старые, уже с прошедшим... не любви, а грехов... вдруг сближаемся с существом чистым, невинным; это отвратительно, и поэтому нельзя не чувствовать себя недостойным.

– Ну, у тебя грехов немного.

– Ах, все-таки, – сказал Левин, – все-таки, «с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю²⁰, горько жалуюсь...» Да.

– Что ж делать, так мир устроен, – сказал Степан Аркадьич.

– Одно утешение, как в этой молитве, которую я всегда любил, что не по заслугам прости меня, а по милосердию. Так и она только простить может.

XI

Левин выпил свой бокал, и они помолчали.

– Одно еще я тебе должен сказать. Ты знаешь Вронского? – спросил Степан Аркадьич Левина.

– Нет, не знаю. Зачем ты спрашиваешь?

– Подай другую, – обратился Степан Аркадьич к татарину, доливавшему бокалы и вертевшемуся около них, именно когда его не нужно было.

– Зачем мне знать Вронского?

– А затем тебе знать Вронского, что это один из твоих конкурентов.

– Что такое Вронский? – сказал Левин, и лицо его из того детски-восторженного выражения, которым только что любовался Облонский, вдруг перешло в злое и неприятное.

– Вронский – это один из сыновей графа Кирилла Ивановича Вронского и один из самых лучших образцов золоченой молодежи петербургской. Я его узнал в Твери, когда я там служил, а он приезжал на рекрутский набор. Страшно богат, красив, большие связи, флигель-адъютант и вместе с тем – очень милый, добрый малый. Но более, чем просто добрый малый. Как я его узнал здесь, он и образован и очень умен; это человек, который далеко пойдет.

Левин хмурился и молчал.

– Ну-с, он появился здесь вскоре после тебя, и, как я понимаю, он по уши влюблен в Кити, и ты понимаешь, что мать...

– Извини меня, но я не понимаю ничего, – сказал Левин, мрачно насупливаясь. И тотчас же он вспомнил о брате Николае и о том, как он гадок, что мог забыть о нем.

– Ты постой, постой, – сказал Степан Аркадьич, улыбаясь и трогая его руку. – Я тебе сказал то, что я знаю, и повторяю, что в этом тонком, нежном деле, сколько можно догадываться, мне кажется, шансы на твоей стороне.

²⁰ ...с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю... – Левин цитирует стихотворение Пушкина «Воспоминание», любимое Толстым. «Это стихи, – сказал он, – и таких стихов пять, много десять на всем свете» («Сборник воспоминаний о Л. Н. Толстом». М., 1911, с. 167).

Левин откинулся назад на стул, лицо его было бледно.

– Но я бы советовал тебе решить дело как можно скорее, – продолжал Облонский, доливая ему бокал.

– Нет, благодарствуй, я больше не могу пить, – сказал Левин, отодвигая свой бокал. – Я буду пьян... Ну, ты как поживаешь? – продолжал он, видимо желая переменить разговор.

– Еще слово: во всяком случае, советую решить вопрос скорее. Нынче не советую говорить, – сказал Степан Аркадьич. – Поезжай завтра утром, классически, делать предложение, и да благословит тебя бог...

– Что ж ты все хотел на охоту ко мне приехать? Вот приезжай весной на тягу, – сказал Левин.

Теперь он всею душой раскаивался, что начал этот разговор со Степаном Аркадьичем. Его *особенное* чувство было осквернено разговором о конкуренции какого-то петербургского офицера, предположениями и советами Степана Аркадьича.

Степан Аркадьич улыбнулся. Он понимал, что делалось в душе Левина.

– Приеду когда-нибудь, – сказал он. – Да, брат, женщины – это винт, на котором все вертится. Вот и мое дело плохо, очень плохо. И все от женщин. Ты мне скажи откровенно, – продолжал он, достав сигару и держась одною рукой за бокал, – ты мне дай совет.

– Но в чем же?

– Вот в чем. Положим, ты женат, ты любишь жену, но ты увлекся другою женщиной...

– Извини, но я решительно не понимаю этого, как бы... все равно как не понимаю, как бы я теперь, наевшись, тут же пошел мимо калачной и украл бы калач.

Глаза Степана Аркадьича блестели больше обыкновенного.

– Отчего же? Калач иногда так пахнет, что не удержишься.

Himmlisch ist's wenn ich bezwungen
Moine irdische Begier;
Aber doch wenn's nicht gelungen,
Hatt' ich auch recht habsch Plaisir²¹²².

Говоря это, Степан Аркадьич тонко улыбался. Левин тоже не мог не улыбнуться.

– Да, но без шуток, – продолжал Облонский. – Ты пойми, что женщина, милое, кроткое, любящее существо, бедная, одинокая и всем пожертвовала. Теперь, когда уже дело сделано, – ты пойми, – неужели бросить ее? Положим: расстаться, чтобы не разрушить семейную жизнь; но неужели не пожалеть ее, не устроить, не смягчить?

– Ну, уж извини меня. Ты знаешь, для меня все женщины делятся на два сорта... то есть нет... вернее: есть женщины, и есть... Я прелестных падших созданий не видал²³ и не увижу, а такие, как та крашенная француженка у конторки, с завитками, – это для меня гадины, и все падшие – такие же.

– А евангельская?

– Ах, перестань! Христос никогда бы не сказал этих слов, если бы знал, как будут злоупотреблять ими. Изю всего Евангелия только и помнят эти слова. Впрочем, я говорю не то, что думаю, а то, что чувствую. Я имею отвращение к падшим женщинам. Ты пауков боишься, а я этих гадин. Ты ведь, наверно, не изучал пауков и не знаешь их нравов: так и я.

²¹ *Hemmlisch ist's, wenn ich bezwungen.* – Облонский декламирует куплет из оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь».

²² Великолечно, если я поборол свою земную страсть; Но если это и не удалось, Я все же испытал блаженство. (нем.).

²³ *Я прелестных падших созданий не видал...* – «Прелестное, но падшее создание» – перефразированная строка из Пушкинского «Пира во время чумы», слова Вальсингама: «погибшее, но милое создание».

– Хорошо тебе так говорить; это все равно, как этот диккенсовский господин, который перебрасывает левою рукой через правое плечо, все затруднительные вопросы.²⁴ Но отрицание факта – не ответ. Что ж делать, ты мне скажи, что делать? Жена стареется, а ты полон жизни. Ты не успеешь оглянуться, как ты уже чувствуешь, что ты не можешь любить любовью жену, как бы ты ни уважал ее. А тут вдруг подвернется любовь, и ты пропал, пропал! – с унылым отчаянием проговорил Степан Аркадьич.

Левин усмехнулся.

– Да, и пропал, – продолжал Облонский. – Но что же делать?

– Не красть калачей.

Степан Аркадьич рассмеялся.

– О моралист! Но ты пойми, есть две женщины: одна настаивает только на своих правах, и права эти твоя любовь, которой ты не можешь ей дать; а другая жертвует тебе всем и ничего не требует. Что тебе делать? Как поступить? Тут страшная драма.

– Если ты хочешь мою исповедь относительно этого, то я скажу тебе, что не верю, чтобы тут была драма. И вот почему. По-моему, любовь... обе любви, которые, помнишь, Платон определяет в своем «Пире»²⁵, обе любви служат пробным камнем для людей. Одни люди понимают только одну, другие другую. И те, что понимают только неплатоническую любовь, напрасно говорят о драме. При такой любви не может быть никакой драмы. «Покорно вас благодарю за удовольствие, мое почтение», вот и вся драма. А для платонической любви не может быть драмы, потому что в такой любви все ясно и чисто, потому что...

В эту минуту Левин вспомнил о своих грехах и о внутренней борьбе, которую он пережил. И он неожиданно прибавил:

– А впрочем, может быть, ты и прав. Очень может быть... Но я не знаю, решительно не знаю.

– Вот видишь ли, – сказал Степан Аркадьич, – ты очень цельный человек. Это твое качество и твой недостаток. Ты сам цельный характер и хочешь, чтобы вся жизнь слагалась из цельных явлений, а этого не бывает. Ты вот презираешь общественную служебную деятельность, потому что тебе хочется, чтобы дело постоянно соответствовало цели, а этого не бывает. Ты хочешь тоже, чтобы деятельность одного человека всегда имела цель, чтобы любовь и семейная жизнь всегда были одно. А этого не бывает. Все разнообразие, вся прелесть, вся красота жизни складывается из тени и света.

Левин вздохнул и ничего не ответил. Он думал о своем и не слушал Облонского.

И вдруг они оба почувствовали, что хотя они и друзья, хотя они обедали вместе и пили вино, которое должно было бы еще более сблизить их, но что каждый думает только о своем и одному до другого нет дела. Облонский уже не раз испытывал это случающееся после обеда крайнее раздвоение вместо сближения и знал, что надо делать в этих случаях.

– Счет! – крикнул он и вышел в соседнюю залу, где тотчас же встретил знакомого адъютанта и вступил с ним в разговор об актрисе и ее содержателе. И тотчас же в разговоре с адъютантом Облонский почувствовал облегчение и отдохновение от разговора с Левиным, который вызывал его всегда на слишком большое умственное и душевное напряжение.

²⁴ ...это все равно, как этот диккенсовский господин, который перебрасывает левою рукой через правое плечо все затруднительные вопросы. – «Диккенсовский господин» – это мистер Подснеп («Наш общий друг»). «Мистер Подснеп даже выработал себе особый жест: правой рукой он отмахивался от самых сложных мировых вопросов (и тем совершенно их устранял) – с этими самыми словами и краской возмущения в лице. Ибо все это его оскорбляло» (Ч. Диккенс. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 24. М., 1962, с. 158).

²⁵ ...обе любви, которые, помнишь, Платон определяет в своем «Пире»... – Платон (428 или 427–348 или 347 гг. до н. э.) в своем «Симпозионе» или «Пире» утверждает, что есть два рода любви, как есть две Афродиты: любовь земная, чувственная (Афродита-Пандемос), и любовь небесная, свободная от чувственных желаний (Афродита Урания). «Ведь одна-то старшая, но имеющая матери, дочь Урана (Неба), которую и называют небесною; а другая – младшая, дочь Зевса и Дионы...» («Сочинения Платона», ч. IV. СПб., 1863, с. 102). «Чистая любовь» получила название платонической.

Когда татарин явился со счетом в двадцать шесть рублей с копейками и с дополнением на водку, Левин, которого в другое время, как деревенского жителя, привел бы в ужас счет на его долю в четырнадцать рублей, теперь не обратил внимания на это, расплатился и отправился домой, чтобы переодеться и ехать к Щербацким, где решится его судьба.

ХП

Княжне Кити Щербацкой было восемнадцать лет. Она выезжала первую зиму. Успехи ее в свете были больше, чем обеих ее старших сестер, и больше, чем даже ожидала княгиня. Мало того, что юноши, танцующие на московских балах, почти все были влюблены в Кити, уже в первую зиму представились две серьезные партии: Левин и, точас же после его отъезда, граф Вронский.

Появление Левина в начале зимы, его частые посещения и явная любовь к Кити были поводом к первым серьезным разговорам между родителями Кити о ее будущем и к спорам между князем и княгиней. Князь был на стороне Левина, говорил, что он ничего не желает лучшего для Кити. Княгиня же, со свойственной женщинам привычкой обходить вопрос, говорила, что Кити слишком молода, что Левин ничем не показывает, что имеет серьезные намерения, что Кити не имеет к нему привязанности, и другие доводы; но не говорила главного, того, что она ждет лучшей партии для дочери, и что Левин несимпатичен ей, и что она не понимает его. Когда же Левин внезапно уехал, княгиня была рада и с торжеством говорила мужу: «Видишь, я была права». Когда же появился Вронский, она еще более была рада, утвердившись в своем мнении, что Кити должна сделать не просто хорошую, но блестящую партию.

Для матери не могло быть никакого сравнения между Вронским и Левиным. Матери не нравились в Левине и его странные и резкие суждения, и его неловкость в свете, основанная, как она полагала, на гордости, и его, по ее понятиям, дикая какая-то жизнь в деревне, с занятиями скотиной и мужиками; не нравилось очень и то, что он, влюбленный в ее дочь, ездил в дом полтора месяца, чего-то как будто ждал, высматривал, как будто боялся, не велика ли будет честь, если он сделает предложение, и не понимал, что, ездя в дом, где девушка невеста, надо было объясниться. И вдруг, не объяснившись, уехал. «Хорошо, что он так непривлекателен, что Кити не влюбилась в него», – думала мать.

Вронский удовлетворял всем желаниям матери. Очень богат, умен, знатен, на пути блестящей военно-придворной карьеры и обворожительный человек. Нельзя было ничего лучшего желать.

Вронский на балах явно ухаживал за Кити, танцевал с нею и ездил в дом, стало быть, нельзя было сомневаться в серьезности его намерений. Но, несмотря на то, мать всю эту зиму находилась в страшном беспокойстве и волнении.

Сама княгиня вышла замуж тридцать лет тому назад, по сватовству тетки. Жених, о котором было все уже вперед известно, приехал, увидел невесту, и его увидели; сваха тетка узнала и передала взаимно произведенное впечатление; впечатление было хорошее; потом в назначенный день было сделано родителям и принято ожидаемое предложение. Все произошло очень легко и просто. По крайней мере так казалось княгине. Но на своих дочерях она испытала, как не легко и не просто это, кажущееся обыкновенным, дело – выдавать дочерей замуж. Сколько страхов было пережито, сколько мыслей передумано, сколько денег потрачено, сколько столкновений с мужем при выдаче замуж старших двух, Дарьи и Натальи! Теперь, при вывозе меньшей, переживались те же страхи, те же сомнения и еще большие, чем из-за старших, ссоры с мужем. Старый князь, как и все отцы, был особенно щепетилен насчет чести и чистоты своих дочерей; он был неблагоприятно ревнив к дочерям, и особенно к Кити, которая была его любимица, и на каждом шагу делал сцены княгине за то, что она компрометирует дочь. Княгиня привыкла к этому еще с первыми дочерьми, но теперь она чувствовала, что щепетильность

князя имеет больше оснований. Она видела, что в последнее время многое изменилось в приемах общества, что обязанности матери стали еще труднее. Она видела, что сверстницы Кити составляли какие-то общества, отправлялись на какие-то курсы²⁶, свободно обращались с мужчинами, ездили одни по улицам, многие не приседали и, главное, были все твердо уверены, что выбрать себе мужа есть их дело, а не родителей. «Нынче уж так не выдают замуж, как прежде», – думали и говорили все эти молодые девушки и все даже старые люди. Но как же нынче выдают замуж, княгиня ни от кого не могла узнать. Французский обычай – родителям решать судьбу детей – был не принят, осуждался. Английский обычай – совершенной свободы девушки – был тоже не принят и невозможен в русском обществе. Русский обычай сватовства считался чем-то безобразным, над ним смеялись все и сама княгиня. Но как надо выходить и выдавать замуж, никто не знал. Все, с кем княгине случалось толковать об этом, говорили ей одно: «Помилуйте, в наше время уж пора оставить эту старину. Ведь молодым людям в брак вступать, а не родителям; стало быть, и надо оставить молодых людей устраиваться, как они знают». Но хорошо было говорить так тем, у кого не было дочерей; а княгиня понимала, что при сближении дочь могла влюбиться, и влюбиться в того, кто не захочет жениться, или в того, кто не годится в мужа. И сколько бы ни внушали княгине, что в наше время молодые люди сами должны устраивать свою судьбу, она не могла верить этому, как не могла бы верить тому, что в какое бы то ни было время для пятилетних детей самыми лучшими игрушками должны быть заряженные пистолеты. И потому княгиня беспокоилась с Кити больше, чем со старшими дочерьми.

Теперь она боялась, чтобы Вронский не ограничился одним ухаживанием за ее дочерью. Она видела, что дочь уже влюблена в него, но утешала себя тем, что он честный человек и потому не сделает этого. Но вместе с тем она знала, как с нынешнею свободой обращения легко вскружить голову девушки и как вообще мужчины легко смотрят на эту вину. На прошлой неделе Кити рассказала матери свой разговор во время мазурки с Вронским. Разговор этот отчасти успокоил княгиню; но совершенно спокойною она не могла быть. Вронский сказал Кити, что они, оба брата, так привыкли во всем подчиняться своей матери, что никогда не решатся предпринять что-нибудь важное, не посоветовавшись с нею. «И теперь я жду, как особенного счастья, приезда матушки из Петербурга», – сказал он.

Кити рассказала это, не придавая никакого значения этим словам. Но мать поняла это иначе. Она знала, что старуху ждут со дня на день, знала, что старуха будет рада выбору сына, и ей странно было, что он, боясь оскорбить мать, не делает предложения: однако ей так хотелось и самого брака и, более всего, успокоения от своих тревог, что она верила этому. Как ни горько было теперь княгине видеть несчастье старшей дочери Долли, сбиравшейся оставить мужа, волнение о решавшейся судьбе меньшей дочери поглощало все ее чувства. Нынешний день, с появлением Левина, ей прибавилось еще новое беспокойство. Она боялась, чтобы дочь, имевшая, как ей казалось, одно время чувство к Левину, из излишней честности не отказала бы Вронскому и вообще чтобы приезд Левина не запутал, не задержал дела, столь близкого к окончанию.

– Что он, давно ли приехал? – сказала княгиня про Левина, когда они вернулись домой.

– Нынче, папан.

– Я одно хочу сказать... – начала княгиня, и по серьезно-оживленному лицу ее Кити угадала, о чем будет речь.

²⁶ ...сверстницы Кити составляли какие-то общества, отправлялись на какие-то курсы... – 1 ноября 1872 г. в Москве открылись Высшие женские курсы профессора В. И. Герье (1837–1919), имевшие целью «дать девицам, окончившим гимназический или институтский курс, возможность продолжать образование». На курсах Герье они изучали русскую и всеобщую литературу, русскую и всеобщую историю, историю искусства и цивилизации, физику, иностранные языки, математику и гигиену («Голос», 1873, № 119, 1 мая).

– Мама, – сказала она, вспыхнув и быстро поворачиваясь к ней, – пожалуйста, пожалуйста, не говорите ничего про это. Я знаю, я все знаю.

Она желала того же, чего желала и мать, но мотивы желания матери оскорбляли ее.

– Я только хочу сказать, что, подав надежду одному...

– Мама, голубчик, ради бога, не говорите. Так страшно говорить про это.

– Не буду, не буду, – сказала мать, увидав слезы на глазах дочери, – но одно, моя душа: ты мне обещала, что у тебя не будет от меня тайны. Не будет?

– Никогда, мама, никакой, – отвечала Кити, покраснев и взглянув прямо в лицо матери. – Но мне нечего говорить теперь. Я... я... если бы хотела, я не знаю, что сказать и как... я не знаю...

«Нет, неправду не может она сказать с этими глазами», – подумала мать, улыбаясь на ее волнение и счастье. Княгиня улыбалась тому, как огромно и значительно кажется ей, бедняжке, то, что происходит теперь в ее душе.

ХІІІ

Кити испытывала после обеда до начала вечера чувство, подобное тому, какое испытывает юноша пред битвою. Сердце ее билось сильно, и мысли не могли ни на чем остановиться.

Она чувствовала, что нынешний вечер, когда они оба в первый раз встречаются, должен быть решительный в ее судьбе. И она беспрестанно представляла себе их, то каждого порознь, то вместе обоих. Когда она думала о прошедшем, она с удовольствием, с нежностью останавливалась на воспоминаниях своих отношений к Левину. Воспоминания детства и воспоминания о дружбе Левина с ее умершим братом придавали особенную поэтическую прелесть ее отношениям с ним. Его любовь к ней, в которой она была уверена, была лестна и радостна ей. И ей легко было вспоминать о Левине. К воспоминаниям о Вронском, напротив, примешивалось что-то неловкое, хотя он был в высшей степени светский и спокойный человек; как будто фальшь какая-то была, – но в нем, он был очень прост и мил, – но в ней самой, тогда как с Левиным она чувствовала себя совершенно простою и ясною. Но зато, как только она думала о будущем с Вронским, пред ней вставала перспектива блестяще-счастливая; с Левиным же будущность представлялась туманною.

Взойдя наверх одеться для вечера и взглянув в зеркало, она с радостью заметила, что она в одном из своих хороших дней и в полном обладании всеми своими силами, а это ей так нужно было для предстоящего: она чувствовала в себе внешнюю тишину и свободную грацию движений.

В половине восьмого, только что она сошла в гостиную, лакей доложил: «Константин Дмитрич Левин». Княгиня была еще в своей комнате, и князь не выходил. «Так и есть», – подумала Кити, и вся кровь прилила ей к сердцу. Она ужаснулась своей бледности, взглянув в зеркало.

Теперь она верно знала, что он затем и приехал раньше, чтобы застать ее одну и сделать предложение. И тут только в первый раз все дело представилось ей совсем с другой, новой стороны. Тут только она поняла, что вопрос касается не ее одной, – с кем она будет счастлива и кого она любит, – но что сию минуту она должна оскорбить человека, которого она любит. И оскорбить жестоко... За что? За то, что он, милый, любит ее, влюблен в нее. Но, делать нечего, так нужно, так должно.

«Боже мой, неужели это я должна сама сказать ему? – подумала она. – Ну что я скажу ему? Неужели я скажу ему, что я его не люблю? Это будет неправда. Что ж я скажу ему? Скажу, что люблю другого? Нет, это невозможно. Я уйду, уйду».

Она уже подходила к дверям, когда услышала его шаги. «Нет! нечестно. Чего мне бояться? Я ничего дурного не сделала. Что будет, то будет! Скажу правду. Да с ним не может быть

неловко. Вон он», – сказала она себе, увидав всю его сильную и робкую фигуру с блестящими, устремленными на себя глазами. Она прямо взглянула ему в лицо, как бы умоляя его о пощаде, и подала руку.

– Я не вовремя, кажется, слишком рано, – сказал он, оглянув пустую гостиную. Когда он увидел, что его ожидания сбылись, что ничто не мешает ему высказаться, лицо его сделалось мрачно.

– О, нет, – сказала Кити и села к столу.

– Но я только того и хотел, чтобы застать вас одну, – начал он, не садясь и не глядя на нее, чтобы не потерять смелости.

– Мама сейчас выйдет. Она вчера очень устала. Вчера...

Она говорила, сама не зная, что говорят ее губы, и не спуская с него умоляющего и ласкающего взгляда. Он взглянул на нее; она покраснела и замолчала.

– Я сказал вам, что не знаю, надолго ли я приехал... что это от вас зависит...

Она все ниже и ниже склоняла голову, не зная сама, что будет отвечать на приближавшееся.

– Что это от вас зависит, – повторил он. – Я хотел сказать... я хотел сказать... Я за этим приехал... что... быть моею женой! – проговорил он, не зная сам, что говорил; по, почувствовав, что самое страшное сказано, остановился и посмотрел на нее.

Она тяжело дышала, не глядя на него. Она испытывала восторг. Душа ее была переполнена счастьем. Она никак не ожидала, что высказанная любовь его произведет на нее такое сильное впечатление. Но это продолжалось только одно мгновение. Она вспомнила Вронского. Она подняла на Левина свои светлые правдивые глаза и, увидав его отчаянное лицо, поспешно ответила:

– Этого не может быть... простите меня...

Как за минуту тому назад она была близка ему, как важна для его жизни! И как теперь она стала чужда и далека ему!

– Это не могло быть иначе, – сказал он, не глядя на нее.

Он поклонился и хотел уйти.

XIV

Но в это самое время вышла княгиня. На лице ее изобразился ужас, когда она увидела их одних и их расстроенные лица. Левин поклонился ей и ничего не сказал. Кити молчала, не поднимая глаз. «Слава богу, отказала», – подумала мать, и лицо ее просияло обычной улыбкой, с которою она встречала по четвергам гостей. Она села и начала расспрашивать Левина о его жизни в деревне. Он сел опять, ожидая приезда гостей, чтоб уехать незаметно.

Через пять минут вошла подруга Кити, прошлую зиму вышедшая замуж, графиня Нордстон.

Это была сухая, желтая, с черными блестящими глазами, болезненная, нервная женщина. Она любила Кити, и любовь ее к ней, как и всегда любовь замужних к девушкам, выражалась в желании выдать Кити по своему идеалу счастья замуж, и потому желала выдать ее за Вронского. Левин, которого она в начале зимы часто у них встречала, был всегда неприятен ей. Ее постоянное и любимое занятие при встрече с ним состояло в том, чтобы шутить над ним.

– Я люблю, когда он с высоты своего величия смотрит на меня: или прекращает свой умный разговор со мной, потому что я глупа, или снисходит. Я это очень люблю: *снисходит* до меня! Я очень рада, что он меня терпеть не может, – говорила она о нем.

Она была права, потому что действительно Левин терпеть ее не мог и презирал за то, чем она гордилась и что ставила себе в достоинство, – за ее нервность, за ее утонченное презрение и равнодушие ко всему грубому и житейскому.

Между Нордстон и Левиным установилось то нередко встречающееся в свете отношение, что два человека, оставаясь по внешности в дружелюбных отношениях, презируют друг друга до такой степени, что не могут даже серьезно обращаться друг с другом и не могут даже быть оскорблены один другим.

Графиня Нордстон тотчас же накинулась на Левина.

– А! Константин Дмитрич! Опять приехали в наш развратный Вавилон, – сказала она, подавая ему крошечную желтую руку и вспоминая его слова, сказанные как-то в начале зимы, что Москва есть Вавилон. – Что, Вавилон исправился или вы испортились? – прибавила она, с усмешкой оглядываясь на Кити.

– Мне очень лестно, графиня, что вы так помните мои слова, – отвечал Левин, успевший оправиться и сейчас же по привычке входя в свое шуточно-враждебное отношение к графине Нордстон. – Верно, они на вас очень сильно действуют.

– Ах, как же! Я все записываю. Ну что, Кити, ты опять каталась на коньках?..

И она стала говорить с Кити. Как ни неловко было Левину уйти теперь, ему все-таки легче было сделать эту неловкость, чем остаться весь вечер и видеть Кити, которая изредка взглядывала на него и избегала его взгляда. Он хотел встать, но княгиня, заметив, что он молчит, обратилась к нему:

– Вы надолго приехали в Москву? Ведь вы, кажется, мировым земством занимаетесь, и вам нельзя надолго.

– Нет, княгиня, я не занимаюсь более земством, – сказал он. – Я приехал на несколько дней.

«Что-то с ним нынче особенное, – подумала графиня Нордстон, взглядывая в его строгое, серьезное лицо, – что-то он не втягивается в свои рассуждения. Но я уж выведу его. Ужасно люблю сделать его дураком пред Кити, и сделаю».

– Константин Дмитрич, – сказала она ему, – растолкуйте мне, пожалуйста, что такое значит, – вы всё это знаете, – у нас в калужской деревне все мужики и все бабы все пропили, что у них было, и теперь ничего нам не платят. Что это значит? Вы так хвалите всегда мужиков.

В это время еще дама вошла в комнату, и Левин встал.

– Извините меня, графиня, но я, право, ничего этого не знаю и ничего не могу вам сказать, – сказал он и оглянулся на входившего вслед за дамой военного.

«Это должен быть Вронский», – подумал Левин и, чтоб убедиться в этом, взглянул на Кити. Она уже успела взглянуть на Вронского и оглянулась на Левина. И по одному этому взгляду невольно просиявших глаз ее Левин понял, что она любила этого человека, понял так же верно, как если б она сказала ему это словами. Но что же это за человек?

Теперь – хорошо ли это, дурно ли, – Левин не мог не остаться; ему нужно было узнать, что за человек был тот, кого она любила.

Есть люди, которые, встречая своего счастливого в чем бы то ни было соперника, готовы сейчас же отвернуться от всего хорошего, что есть в нем, и видеть в нем одно дурное; есть люди, которые, напротив, более всего желают найти в этом счастливом сопернике те качества, которыми он победил их, и ищут в нем со щемящею болью в сердце одного хорошего. Левин принадлежал к таким людям. Но ему нетрудно было отыскать хорошее и привлекательное во Вронском. Оно сразу бросилось ему в глаза. Вронский был невысокий, плотно сложенный брюнет, с добродушно-красивым, чрезвычайно спокойным и твердым лицом. В его лице и фигуре, от коротко обстриженных черных волос и свежевыбритого подбородка до широкого с иголочки нового мундира, все было просто и вместе изящно. Дав дорогу входившей даме, Вронский подошел к княгине и потом к Кити.

В то время как он подходил к ней, красивые глаза его особенно нежно заблестели, и с чуть заметною счастливою и скромно-торжествующею улыбкой (так показалось Левину), почтительно и осторожно наклонясь над нею, он протянул ей свою небольшую, но широкую руку.

Со всеми поздоровавшись и сказав несколько слов, он сел, ни разу не взглянув на не спускавшего с него глаз Левина.

– Позвольте вас познакомить, – сказала княгиня, указывая на Левина. – Константин Дмитрич Левин. Граф Алексей Кириллович Вронский.

Вронский встал и, дружелюбно глядя в глаза Левину, пожал ему руку.

– Я нынче зимой должен был, кажется, обедать с вами, – сказал он, улыбаясь своею простою и открытою улыбкой, – но вы неожиданно уехали в деревню.

– Константин Дмитрич презирает и ненавидит город и нас, горожан, – сказала графиня Нордстон.

– Должно быть, мои слова на вас сильно действуют, что вы их так помните, – сказал Левин и, вспомнив, что он уже сказал это прежде, покраснел.

Вронский взглянул на Левина и графиню Нордстон и улыбнулся.

– А вы всегда в деревне? – спросил он. – Я думаю, зимой скучно?

– Не скучно, если есть занятия, да и с самим собой не скучно, – резко отвечал Левин.

– Я люблю деревню, – сказал Вронский, замечая и делая вид, что не замечает тона Левина.

– Но надеюсь, граф, что вы бы не согласились жить всегда в деревне, – сказала графиня Нордстон.

– Не знаю, я не пробовал подолгу. Я испытал странное чувство, – продолжал он. – Я нигде так не скучал по деревне, русской деревне, с лаптями и мужиками, как прожив с матушкой зиму в Ницце. Ницца сама по себе скучна, вы знаете. Да и Неаполь, Сорренто хороши только на короткое время. И именно там особенно живо вспоминается Россия, и именно деревня. Они точно как...

Он говорил, обращаясь и к Кити и к Левину и переводя с одного на другого свой спокойный и дружелюбный взгляд, – говорил, очевидно, что приходило в голову.

Заметив, что графиня Нордстон хотела что-то сказать, он остановился, не досказав начатого, и стал внимательно слушать ее.

Разговор не умолкал ни на минуту, так что старой княгине, всегда имевшей про запас, на случай неимения темы, два тяжелых орудия: классическое и реальное образование и общую воинскую повинность, не пришлось выдвигать их, а графине Нордстон не пришлось подразнить Левина.

Левин хотел и не мог вступить в общий разговор; ежеминутно говоря себе: «теперь уйти», он не уходил, чего-то дожидаясь.

Разговор зашел о вертящихся столах и духах²⁷, и графиня Нордстон, верившая в спиритизм, стала рассказывать чудеса, которые она видела.

– Ах, графиня, непременно свезите, ради бога, свезите меня к ним! Я никогда ничего не видал необыкновенного, хотя везде отыскиваю, – улыбаясь, сказал Вронский.

– Хорошо, в будущую субботу, – отвечала графиня Нордстон. – Но вы, Константин Дмитрич, верите? – спросила она Левина.

– Зачем вы меня спрашиваете? Ведь вы знаете, что я скажу.

– Но я хочу слышать ваше мнение.

– Мое мнение только то, – отвечал Левин, – что эти вертящиеся столы доказывают, что так называемое образованное общество не выше мужиков. Они верят в глаз, и в порчу, и в привороты, а мы...

– Что ж, вы не верите?

²⁷ *Разговор зашел о вертящихся столах и духах.* – В 1875 г. в журнале «Русский вестник» были напечатаны статьи о спиритизме: «Медиумизм» профессора И. П. Вагнера и «Медиумические явления» профессора А. М. Бутлерова. «Меня статьи в «Русском вестнике» страшно волновали», – признавался Толстой (т. 62, с. 235). Критику спиритизма, который стал модным «веянием» в светских кругах в 70-е годы, Толстой только начал в «Анне Карениной». Впоследствии он написал сатиру на спиритов в «Плодах просвещения» (1890).

– Не могу верить, графиня.

– Но если я сама видела?

– И бабы рассказывают, как они сами видели домовых.

– Так вы думаете, что я говорю неправду? И она невесело засмеялась.

– Да нет, Маша, Константин Дмитрич говорит, что он не может верить, – сказала Кити, краснея за Левина, и Левин понял это и, еще более раздражившись, хотел отвечать, но Вронский со своею открытою веселою улыбкой тотчас же пришел на помощь разговору, угрожавшему сделаться неприятным.

– Вы совсем не допускаете возможности? – спросил он. – Почему же мы допускаем существование электричества, которого мы не знаем; почему не может быть новая сила, еще нам неизвестная, которая...

– Когда найдено было электричество, – быстро перебил Левин, – то было только открыто явление, и неизвестно было, откуда оно происходит и что оно производит, и века прошли прежде, чем подумали о приложении его. Спириты же, напротив, начали с того, что столики им пишут и духи к ним приходят, а потом уже стали говорить, что это есть сила неизвестная.

Вронский внимательно слушал Левина, как он всегда слушал, очевидно, интересуясь его словами.

– Да, но спириты говорят: теперь мы не знаем, что это за сила, но сила есть, и вот при каких условиях она действует. А ученые пускай разбирают, в чем состоит эта сила. Нет, я не вижу, почему это не может быть новая сила, если она...

– А потому, – опять перебил Левин, – что при электричестве каждый раз, как вы потрете смолу о шерсть²⁸, обнаруживается известное явление, а здесь не каждый раз, стало быть, это не природное явление.

Вероятно, чувствуя, что разговор принимает слишком серьезный для гостиней характер, Вронский не возражал, а, стараясь переменить предмет разговора, весело улыбнулся и повернулся к дамам.

– Давайте сейчас попробуем, графиня, – начал он; но Левин хотел досказать то, что он думал.

– Я думаю, – продолжал он, – что эта попытка спиритов объяснять свои чудеса какою-то новою силой – самая неудачная. Они прямо говорят о силе духовной и хотят ее подвергать материальному опыту.

Все ждали, когда он кончит, и он чувствовал это.

– А я думаю, что вы будете отличный медиум²⁹, – сказала графиня Нордстон, – в вас есть что-то восторженное.

Левин открыл рот, хотел сказать что-то, покраснел и ничего не сказал.

– Давайте сейчас, княжна, испытаем столы, пожалуйста, – сказал Вронский. – Княгиня, вы позволите?

И Вронский встал, отыскивая глазами столик.

²⁸ При электричестве каждый раз, как вы потрете смолу о шерсть... – Толстой так же, как Д. И. Менделеев, в 70-е годы резко отрицательно относился к «медиумизму» и был «на стороне науки». Левин в споре с Вронским повторяет аргументы Толстого: «Как это ученые (анализом занимающиеся) не знают, что, прежде чем что-нибудь подвергать опыту, знают, что, какого рода явления могут выйти из их опыта. Астроном поверит, что может явиться комета величиною с солнце, и будет ее наблюдать... Но если астроном увидит, что мимо телескопа полетит сапог... он не станет наблюдать сапог». – «Как же они предлагают подвергнуть *научному* исследованию... стуки в столе» (т. 62, с. 235–236). В 1876 г. вышла в свет книга Менделеева «Спиритизм», содержащая научную критику «медиумизма». Основные идеи ее автора весьма сходны с аргументами Толстого.

²⁹ ...я думаю, что вы будете отличный медиум... – Медиум – посредник (от лат. medium), человек, при помощи которого происходило на спиритических сеансах «общение с духами». В 60-70-х годах в Москве и Петербурге подвизались знаменитые медиумы – Дуглас Юм и Камил Бредиш.

Кити встала за столиком и, проходя мимо, встретила глазами с Левиным. Ей всею душой было жалко его, тем более что она жалела его в несчастии, которого сама была причиною. «Если можно меня простить, то простите, – сказал ее взгляд, – я так счастлива».

«Всех ненавижу, и вас, и себя», – отвечал его взгляд, и он взялся за шляпу. Но ему не судьба была уйти. Только что хотели устраиваться около столика, а Левин уйти, как вошел старый князь и, поздоровавшись с дамами, обратился к Левиному.

– А! – начал он радостно. – Давно ли? Я и не знал, что ты тут. Очень рад вас видеть.

Старый князь иногда «ты», иногда «вы» говорил Левиному. Он обнял Левина и, говоря с ним, не замечал Вронского, который встал и спокойно дожидался, когда князь обратится к нему.

Кити чувствовала, как после того, что произошло, любезность отца была тяжела Левиному. Она видела также как холодно отец ее, наконец, ответил на поклон Вронского и как Вронский с дружелюбным недоумением посмотрел на ее отца, стараясь понять и не понимая, как и за что можно было быть к нему недружелюбно расположенным, и она покраснела.

– Князь, отпустите нам Константина Дмитрича, – сказала графиня Нордстон. – Мы хотим опыт делать.

– Какой опыт? столы вертеть? Ну, извините меня, дамы и господа, но, по-моему, в колечко веселее играть, – сказал старый князь, глядя на Вронского и догадываясь, что он затеял это. – В колечке еще есть смысл.

Вронский посмотрел с удивлением на князя своими твердыми глазами и, чуть улыбнувшись, тотчас же заговорил с графиней Нордстон о предстоящем на будущей неделе большом бале.

– Я надеюсь, что вы будете? – обратился он к Кити.

Как только старый князь отвернулся от него, Левин незаметно вышел, и последнее впечатление, вынесенное им с этого вечера, было улыбающееся, счастливое лицо Кити, отвечавшей Вронскому на его вопрос о бале.

XV

Когда вечер кончился, Кити рассказала матери о разговоре ее с Левиным, и, несмотря на всю жалость, которую она испытывала к Левиному, ее радовала мысль, что ей было сделано *предложение*. У нее не было сомнения, что она поступила как следовало. Но в постели она долго не могла заснуть. Одно впечатление неотступно преследовало ее. Это было лицо Левина с насупленными бровями и мрачно-уныло смотрящими из-под них добрыми глазами, как он стоял, слушая отца и взглядывая на нее и на Вронского. И ей так жалко стало его, что слезы навернулись на глаза. Но тотчас же она подумала о том, на кого она променяла его. Она живо вспомнила это мужественное, твердое лицо, это благородное спокойствие и светящуюся во всем доброту ко всем; вспомнила любовь к себе того, кого она любила, и ей опять стало радостно на душе, и она с улыбкой счастья легла на подушку. «Жалко, жалко, но что же делать? Я не виновата», – говорила она себе; но внутренний голос говорил ей другое. В том ли она раскаивалась, что завлекла Левина, или в том, что отказала, – она не знала. Но счастье ее было отравлено сомнениями. «Господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй!» – говорила она про себя, пока заснула.

В это время внизу, в маленьком кабинете князя, происходила одна из тех часто повторяющихся между родителями сцен за любимую дочь.

– Что? Вот что! – кричал князь, размахивая руками и тотчас же запахивая свой беличий халат. – То, что в вас нет гордости, достоинства, что вы срамите, губите дочь этим сватовством, подлым, дурацким!

– Да помилуй, ради самого бога, князь, что я сделала? – говорила княгиня, чуть не плача.

Она, счастливая, довольная после разговора с дочерью, пришла к князю проститься по обыкновению, и хотя она не намерена была говорить ему о предложении Левина и отказе Кити, но намекнула мужу на то, что ей кажется дело с Вронским совсем конченным, что оно решится, как только приедет его мать. И тут-то, на эти слова, князь вдруг вспылil и начал выкрикивать неприличные слова.

– Что вы сделали? А вот что: во-первых, вы заманиваете жениха, и вся Москва будет говорить, и резонно. Если вы делаете вечера, так зовите всех, а не избранных женишков. Позовите всех этих *тиотъков* (так князь называл московских молодых людей), позовите тапера, и пускай пляшут, а не так, как нынче, – женишков, и сводить. Мне видеть мерзко, мерзко, и вы добились, вскружили голову девчонке. Левин в тысячу раз лучше человек. А это франтик петербургский, их на машине делают, они все на одну статью, и все дрянь. Да хоть бы он принц крови был, моя дочь ни в ком не нуждается!

– Да что же я сделала?

– А то... – с гневом вскрикнул князь.

– Знаю я, что если тебя слушать, – перебила княгиня, – то мы никогда не отдадим дочь замуж. Если так, то надо в деревню уехать.

– И лучше уехать.

– Да постой. Разве я заискиваю? Я нисколько не заискиваю. А молодой человек, и очень хороший, влюбился, и она, кажется...

– Да, вот вам кажется! А как она в самом деле влюбится, а он столько же думает жениться, как я?.. Ох! не смотрели бы мои глаза!.. «Ах, спиритизм, ах, Ницца, ах, на бале...» – И князь, воображая, что он представляет жену, приседал на каждом слове. – А вот, как сделаем несчастье Катеньки, как она в самом деле заберет в голову...

– Да почему же ты думаешь?

– Я не думаю, а знаю; на это глаза есть у нас, а не у баб. Я вижу человека, который имеет намерения серьезные, это Левин; и вижу перепела, как этот шелкопер, которому только повеселиться.

– Ну, уж ты заберешь в голову...

– А вот вспомнишь, да поздно, как с Дашенькой.

– Ну, хорошо, хорошо, не будем говорить, – остановила его княгиня, вспомнив про несчастную Долли.

– И прекрасно, и прощай!

И, перекрестив друг друга и поцеловавшись, но чувствуя, что каждый остался при своем мнении, супруги разошлись.

Княгиня была сперва твердо уверена, что нынешний вечер решил судьбу Кити и что не может быть сомнения в намерениях Вронского; но слова мужа смутили ее. И, вернувшись к себе, она, точно так же как и Кити, с ужасом пред неизвестностью будущего, несколько раз повторила в душе: «Господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй!»

XVI

Вронский никогда не знал семейной жизни. Мать его была в молодости блестящая светская женщина, имевшая во время замужества, и в особенности после, много романов, известных всему свету. Отца своего он почти не помнил и был воспитан в Пажеском корпусе.

Выйдя очень молодым блестящим офицером из школы, он сразу попал в колею богатых петербургских военных. Хотя он и ездил изредка в петербургский свет, все любовные интересы его были вне света.

В Москве в первый раз он испытал, после роскошной и грубой петербургской жизни, прелесть сближения со светскою, милою и невинною девушкой, которая полюбила его. Ему

и в голову не приходило, чтобы могло быть что-нибудь дурное в его отношениях к Кити. На балах он танцевал преимущественно с нею; он ездил к ним в дом. Он говорил с нею то, что обыкновенно говорят в свете, всякий вздор, но вздор, которому он невольно придавал особенный для нее смысл. Несмотря на то, что он ничего не сказал ей такого, чего не мог бы сказать при всех, он чувствовал, что она все более и более становилась в зависимость от него, и чем больше он это чувствовал, тем ему было приятнее и его чувство к ней становилось нежнее. Он не знал, что его образ действий относительно Кити имеет определенное название, что это есть заманивание барышень без намерения жениться и что это заманивание есть один из дурных поступков, обыкновенных между блестящими молодыми людьми, как он. Ему казалось, что он первый открыл это удовольствие, и наслаждался своим открытием.

Если б он мог слышать, что говорили ее родители в этот вечер, если б он мог перенестись на точку зрения семьи и узнать, что Кити будет несчастна, если он не женится на ней, он бы очень удивился и не поверил бы этому. Он не мог поверить тому, что то, что доставляло такое большое и хорошее удовольствие ему, а главное, ей, могло быть дурно. Еще меньше он мог бы поверить тому, что он должен жениться.

Женитьба для него никогда не представлялась возможностью. Он не только не любил семейной жизни, но в семье, и в особенности в муже, по тому общему взгляду холостого мира, в котором он жил, он представлял себе нечто чуждое, враждебное, а всего более – смешное. Но хотя Вронский и не подозревал того, что говорили родители, он, выйдя в этот вечер от Щербацких, почувствовал, что та духовная тайная связь, которая существовала между ним и Кити, утвердилась нынешний вечер так сильно, что надо предпринять что-то. Но что можно и что должно было предпринять, он не мог придумать.

«То и прелестно, – думал он, возвращаясь от Щербацких и вынося от них, как и всегда, приятное чувство чистоты и свежести, происходившее отчасти и оттого, что он не курил целый вечер, и вместе новое чувство умиления пред ее к себе любовью, – то и прелестно, что ничего не сказано ни мной, ни ею, но мы так понимали друг друга в этом невидимом разговоре взглядов и интонаций, что нынче яснее, чем когда-нибудь, она сказала мне, что любит. И как мило, просто и, главное, доверчиво! Я сам себя чувствую лучше, чище. Я чувствую, что у меня есть сердце и что есть во мне много хорошего. Эти милые влюбленные глаза! Когда она сказала: *и очень...*»

«Ну так что ж? Ну и ничего. Мне хорошо, и ей хорошо». И он задумался о том, где ему окончить нынешний вечер.

Он прикинул воображением места, куда он мог бы ехать. «Клуб? партия безика³⁰, шампанское с Игнатовым? Нет, не поеду. *Château des fleurs*³¹, там найду Облонского, куплеты, сапан? Нет, надоело. Вот именно за то я люблю Щербацких, что сам лучше делаюсь. Поеду домой». Он прошел прямо в свой номер у Дюссо, велел подать себе ужинать и потом, раздевшись, только успел положить голову на подушку, заснул крепким и спокойным, как всегда, сном.

XVII

На другой день, в 11 часов утра, Вронский выехал на станцию Петербургской железной дороги встречать мать, и первое лицо, попавшееся ему на ступеньках большой лестницы, был Облонский, ожидавший с этим же поездом сестру.

– А! Ваше сиятельство! – крикнул Облонский. – Ты за кем?

³⁰ ...*партия безика*... – Безик (франц. *besique*) – карточная игра XVII в., которая снова входила в моду в 70-е годы XIX в.

³¹ *Château des fleurs* — «Шато де флер», название увеселительного заведения, устроенного по типу парижского кафешантана. На сцене выступали танцовщицы, куплетисты, гимнасты, велосипедистки. В Москве «Шато де флер» содержал антрепренер Беккер в Петровском парке.

– Я за матушкой, – улыбаясь, как и все, кто встречался с Облонским, отвечал Вронский, пожимая ему руку, и вместе с ним взойшел на лестницу. – Она нынче должна быть из Петербурга.

– А я тебя ждал до двух часов. Куда же поехал от Щербацких?

– Домой, – отвечал Вронский. – Признаться, мне так было приятно вчера после Щербацких, что никуда не хотелось.

– Узнаю коней ретивых по каким-то их таврам, юношей влюбленных узнаю по их глазам, – продекламировал Степан Аркадьич точно так же, как прежде Левину.

Вронский улыбнулся с таким видом, что он не отрекается от этого, но тотчас же переменил разговор.

– А ты кого встречаешь? – спросил он.

– Я? я хорошенькую женщину, – сказал Облонский.

– Вот как!

– *Honni soit qui mal y pense!*³² Сестру Анну.

– Ах, это Каренину? – сказал Вронский.

– Ты ее, верно, знаешь?

– Кажется, знаю. Или нет... Право, не помню, – рассеянно отвечал Вронский, смутно представляя себе при имени Карениной что-то чопорное и скучное.

– Но Алексея Александровича, моего знаменитого зятя, верно, знаешь. Его весь мир знает.

– То есть знаю по репутации и по виду. Знаю, что он умный, ученый, божественный что-то... Но ты знаешь, это не в моей... *not in my line*³³, – сказал Вронский.

– Да, он очень замечательный человек; немножко консерватор, но славный человек, – заметил Степан Аркадьич, – славный человек.

– Ну, и тем лучше для него, – сказал Вронский, улыбаясь. – А, ты здесь, – обратился он к высокому старому лакею матери, стоявшему у двери, – войди сюда.

Вронский в это последнее время, кроме общей для всех приятности Степана Аркадьича, чувствовал себя привязанным к нему еще тем, что он в его воображении соединялся с Кити.

– Ну что ж, в воскресенье сделаем ужин для *дивы*? – сказал он ему, с улыбкой взяв его под руку.

– Непременно. Я сберу подписку. Ах, познакомился ты вчера с моим приятелем Левиным? – спросил Степан Аркадьич.

– Как же. Но он что-то скоро уехал.

– Он славный малый, – продолжал Облонский. – Не правда ли?

– Я не знаю, – отвечал Вронский, – отчего это во всех москвичах, разумеется исключая тех, с кем говорю, – шутливо вставил он, – есть что-то резкое. Что-то они всё на дыбы становятся, сердятся, как будто всё хотят дать почувствовать что-то...

– Есть это, правда, есть... – весело смеясь, сказал Степан Аркадьич.

– Что, скоро ли? – обратился Вронский к служащему.

– Поезд вышел, – отвечал слуга. Приближение поезда все более и более обозначалось движением приготовлений на станции, беганьем артельщиков, появлением жандармов и служащих и подъездом встречающих. Сквозь морозный пар виднелись рабочие в полушубках, в мягких валеных сапогах, переходившие через рельсы загибающихся путей. Слышался свист паровика на дальних рельсах и передвижение чего-то тяжелого.

– Нет, – сказал Степан Аркадьич, которому очень хотелось рассказать Вронскому о намерениях Левина относительно Кити. – Нет, ты неверно оценил моего Левина. Он очень нервный

³² Стыдно тому, кто это дурно истолкует! (*фр.*).

³³ Не в моей компетенции (*англ.*).

человек и бывает неприятен, правда, но зато иногда он бывает очень мил. Это такая честная, правдивая натура, и сердце золотое. Но вчера были особенные причины, – с значительной улыбкой продолжал Степан Аркадьич, совершенно забывая то искреннее сочувствие, которое он вчера испытывал к своему приятелю, и теперь испытывая такое же, только к Вронскому. – Да, была причина, почему он мог быть или особенно счастлив, или особенно несчастлив.

Вронский остановился и прямо спросил:

– То есть что же? Или он вчера сделал предложение твоей *belle soeur*?..³⁴

– Может быть, – сказал Степан Аркадьич. – Что-то мне показалось такое вчера. Да если он рано уехал и был еще не в духе, то это так... Он так давно влюблен, и мне его очень жаль.

– Вот как!.. Я думаю, впрочем, что она может рассчитывать на лучшую партию, – сказал Вронский и, выпрямив грудь, опять принялся ходить. – Впрочем, я его не знаю, – прибавил он. – Да, это тяжелое положение! От этого-то большинство и предпочитает знаться с Кларами. Там неудача доказывает только, что у тебя не достало денег, а здесь – твое достоинство на весах. Однако вот и поезд.

Действительно, вдали уже свистел паровоз. Через несколько минут платформа задрожала, и, пылая сбиваемым книзу от мороза паром, прокатился паровоз с медленно и мерно насупливающимся и растягивающимся рычагом среднего колеса и с кланяющимся, обвязанным, заиндевелым машинистом; а за тендером, все медленнее и более потрясая платформу, стал проходить вагон с багажом и с визжавшей собакой; наконец, подрагивая пред остановкой, подошли пассажирские вагоны.

Молодцеватый кондуктор, на ходу давая свисток, соскочил, и вслед за ним стали по одному сходить нетерпеливые пассажиры: гвардейский офицер, держась прямо и строго оглядываясь; вертлявый купчик с сумкой, весело улыбаясь; мужик с мешком через плечо.

Вронский, стоя рядом с Облонским, оглядывал вагоны и выходивших и совершенно забыл о матери. То, что он сейчас узнал про Кити, возбуждало и радовало его. Грудь его невольно выпрямлялась и глаза блестели. Он чувствовал себя победителем.

– Графиня Вронская в этом отделении, – сказал молодцеватый кондуктор, подходя к Вронскому.

Слова кондуктора разбудили его и заставили вспомнить о матери и предстоящем свидании с ней. Он в душе своей не уважал матери и, не отдавая себе в том отчета, не любил ее, хотя по понятиям того круга, в котором жил, по воспитанию своему, не мог себе представить других к матери отношений, как в высшей степени покорных и почтительных, и тем более внешне покорных и почтительных, чем менее в душе он уважал и любил ее.

XVIII

Вронский пошел за кондуктором в вагон и при входе в отделение остановился, чтобы дать дорогу выходившей даме. С привычным тактом светского человека, по одному взгляду на внешность этой дамы, Вронский определил ее принадлежность к высшему свету. Он извинился и пошел было в вагон, но почувствовал необходимость еще раз взглянуть на нее – не потому, что она была очень красива, не по тому изяществу и скромной грации, которые видны были во всей ее фигуре, но потому, что в выражении миловидного лица, когда она прошла мимо его, было что-то особенно ласковое и нежное. Когда он оглянулся, она тоже повернула голову. Блестящие, казавшиеся темными от густых ресниц, серые глаза дружелюбно, внимательно остановились на его лице, как будто она признавала его, и тотчас же перенесли на подходившую толпу, как бы ища кого-то. В этом коротком взгляде Вронский успел заметить сдержанную оживленность, которая играла в ее лице и порхала между блестящими глазами и

³⁴ Свояченице? (*фр.*)

чуть заметной улыбкой, изгибавшею ее румяные губы. Как будто избыток чего-то так переполнял ее существо, что мимо ее воли выражался то в блеске взгляда, то в улыбке. Она потушила умышленно свет в глазах, но он светился против ее воли в чуть заметной улыбке.

Вронский вошел в вагон. Мать его, сухая старушка с черными глазами и буколками, щурилась, вглядываясь в сына, и слегка улыбалась тонкими губами. Поднявшись с диванчика и передав горничной мешочек, она подала маленькую сухую руку сыну и, подняв его голову от руки, поцеловала его в лицо.

– Получил телеграмму? Здоров? Слава богу.

– Хорошо доехали? – сказал сын, садясь подле нее и невольно прислушиваясь к женскому голосу из-за двери. Он знал, что это был голос той дамы, которая встретилась ему при входе.

– Я все-таки с вами не согласна, – говорил голос дамы.

– Петербургский взгляд, сударыня.

– Не петербургский, а просто женский, – отвечала она.

– Ну-с, позвольте поцеловать вашу ручку.

– До свиданья, Иван Петрович. Да посмотрите, не тут ли брат, и пошлите его ко мне, – сказала дама у самой двери и снова вошла в отделение.

– Что ж, нашли брата? – сказала Вронская, обращаясь к даме.

Вронский вспомнил теперь, что это была Каренина.

– Ваш брат здесь, – сказал он, вставая. – Извините меня, я не узнал вас, да и наше знакомство было так коротко, – сказал Вронский, кланяясь, – что вы, верно, не помните меня.

– О, нет, – сказала она, – я бы узнала вас, потому что мы с вашей матушкой, кажется, всю дорогу говорили только о вас, – сказала она, позволяя, наконец, просившемуся наружу оживлению выразиться в улыбке. – А брата моего все-таки нет.

– Позови же его, Алеша, – сказала старая графиня. Вронский вышел на платформу и крикнул:

– Облонский! Здесь!

Но Каренина не дождалась брата, а, увидав его, решительным легким шагом вышла из вагона. И, как только брат подошел к ней, она движением, поразившим Вронского своею решительностью и грацией, обхватила брата левою рукой за шею, быстро притянула к себе и крепко поцеловала. Вронский, не спуская глаз, смотрел на нее и, сам не зная чему, улыбался. Но, вспомнив, что мать ждала его, он опять вошел в вагон.

– Не правда ли, очень мила? – сказала графиня про Каренину. – Ее муж со мною посадил, и я очень рада была. Всю дорогу мы с ней проговорили. Ну, а ты, говорят... *vous filez le parfait amour. Tant mieux, mon cher, tant mieux*³⁵.

– Я не знаю, на что вы намекаете, *maison*, – отвечал сын холодно. – Что ж, *maison*, идем. Каренина опять вошла в вагон, чтобы проститься с графинею.

– Ну вот, вы, графиня, встретили сына, а я брата, – весело сказала она. – И все истории мои истожились; дальше нечего было бы рассказывать.

– Ну нет, милая, – сказала графиня, взяв ее за руку, – я бы с вами объехала вокруг света и не соскучилась бы. Вы одна из тех милых женщин, с которыми и поговорить и помолчать приятно. А о сыне вашем, пожалуйста, не думайте: нельзя же никогда не разлучаться.

Каренина стояла неподвижно, держась чрезвычайно прямо, и глаза ее улыбались.

– У Анны Аркадьевны, – сказала графиня, объясняя сыну, – есть сынок восьми лет, кажется, и она никогда с ним не разлучалась и все мучается, что оставила его.

– Да, мы все время с графинею говорили, я о своем, она о своем сыне, – сказала Каренина, и опять улыбка осветила ее лицо, улыбка ласковая, относившаяся к нему.

³⁵ У тебя все еще тянется идеальная любовь. Тем лучше, мой милый, тем лучше (*фр.*).

– Вероятно, это вам очень наскучило, – сказал он, сейчас, на лету, подхватывая этот мяч кокетства, который она бросила ему. Но она, видимо, не хотела продолжать разговора в этом тоне и обратилась к старой графине.

– Очень благодарю вас. Я и не видала, как провела вчерашний день. До свиданья, графиня.

– Прощайте, мой дружок, – отвечала графиня. – Дайте поцеловать ваше хорошенькое личико. Я просто, по-старушечьи, прямо говорю, что полюбила вас.

Как ни казенна была эта фраза, Каренина, видимо, от души поверила и порадовалась этому. Она покраснела, слегка нагнулась, подставила свое лицо губам графини, опять выпрямилась и с той же улыбкой, волновавшейся между губами и глазами, подала руку Вронскому. Он пожал маленькую ему поданную руку и, как чему-то особенному, обрадовался тому энергическому пожатию, с которым она крепко и смело тряхнула его руку. Она вышла быстрою походкой, так странно легко носившего ее довольно полное тело.

– Очень мила, – сказала старушка.

То же самое думал ее сын. Он провожал ее глазами до тех пор, пока не скрылась ее грациозная фигура, и улыбка остановилась на его лице. В окно он видел, как она подошла к брату, положила ему руку на руку и что-то оживленно начала говорить ему, очевидно о чем-то не имеющем ничего общего с ним, с Вронским, и ему это показалось досадным.

– Ну что, татап, вы совершенно здоровы? – повторил он, обращаясь к матери.

– Все хорошо, прекрасно. Alexandre очень был мил. И Marie очень хороша стала. Она очень интересна.

И опять начала рассказывать о том, что более всего интересовало ее, о крестинах внука, для которых она ездила в Петербург, и про особенную милость государя к старшему сыну.

– Вот и Лаврентий, – сказал Вронский, глядя в окно, – теперь пойдемте, если угодно.

Старый дворецкий, ехавший с графиней, явился в вагон доложить, что все готово, и графиня поднялась, чтоб идти.

– Пойдемте, теперь мало народа, – сказал Вронский.

Девушка взяла мешок и собачку, дворецкий и артельщик другие мешки. Вронский взял под руку мать; но когда они уже выходили из вагона, вдруг несколько человек с испуганными лицами пробежали мимо. Пробежал и начальник станции в своей необыкновенного цвета фуражке. Очевидно, что-то случилось необыкновенное. Народ от поезда бежал назад.

– Что?.. Что?.. Где?.. Бросился!.. задавило!.. – слышалось между проходившими.

Степан Аркадьич с сестрой под руку, тоже с испуганными лицами, вернулись и остановились, избегая народ, у входа в вагон.

Дамы вошли в вагон, а Вронский со Степаном Аркадьичем пошли за народом узнавать подробности несчастья.

Сторож, был ли он пьян или слишком закутан от сильного мороза, не слышал отодвигаемого задом поезда, и его раздавили.

Еще прежде чем вернулись Вронский и Облонский, дамы узнали эти подробности от дворецкого.

Облонский и Вронский оба видели обезображенный труп. Облонский, видимо, страдал. Он морщился и, казалось, готов был плакать.

– Ах, какой ужас! Ах, Анна, если бы ты видела! Ах, какой ужас! – приговаривал он.

Вронский молчал, и красивое лицо его было серьезно, но совершенно спокойно.

– Ах, если бы вы видели, графиня, – говорил Степан Аркадьич. – И жена его тут... Ужасно видеть ее... Она бросилась на тело. Говорят, он один кормил огромное семейство.³⁶ Вот ужас!

³⁶ Говорят, он один кормил огромное семейство. Вот ужас! – Крушения и несчастные случаи на железных дорогах про-

– Нельзя ли что-нибудь сделать для нее? – взволнованным шепотом сказала Каренина. Вронский взглянул на нее и тотчас же вышел из вагона.

– Я сейчас приду, маман, – прибавил он, обертываясь в дверях.

Когда он возвратился через несколько минут, Степан Аркадьич уже разговаривал с графиней о новой певице, а графиня нетерпеливо оглядывалась на дверь, ожидая сына.

– Теперь пойдемте, – сказал Вронский, входя.

Они вместе вышли. Вронский шел впереди с матерью. Сзади шла Каренина с братом. У выхода к Вронскому подошел догнавший его начальник станции.

– Вы передали моему помощнику двести рублей. Потрудитесь обозначить, кому вы назначаете их?

– Вдове, – сказал Вронский, пожимая плечами. – Я не понимаю, о чем спрашивать.

– Вы дали? – крикнул сзади Облонский и, прижав руку сестры, прибавил: – Очень мило, очень мило! Не правда ли, славный малый? Мое почтение, графиня.

И он с сестрой остановились, отыскивая ее девушку.

Когда они вышли, карета Вронских уже отъехала. Выходившие люди все еще переговаривались о том, что случилось.

– Вот смерть-то ужасная! – сказал какой-то господин, проходя мимо. – Говорят, на два куска.

– Я думаю, напротив, самая легкая, мгновенная, – заметил другой.

– Как это не примут мер, – говорил третий.

Каренина села в карету, и Степан Аркадьич с удивлением увидел, что губы ее дрожат и она с трудом удерживает слезы.

– Что с тобой, Анна? – спросил он, когда они отъехали несколько сот сажен.

– Дурное предзнаменование, – сказала она.

– Какие пустяки! – сказал Степан Аркадьич. – Ты приехала, это главное. Ты не можешь представить себе, как я надеюсь на тебя.

– Ты давно знаешь Вронского? – спросила она.

– Да. Ты знаешь, мы надеемся, что он женится на Кити.

– Да? – тихо сказала Анна. – Ну, теперь давай говорить о тебе, – прибавила она, встряхивая головой, как будто хотела физически отогнать что-то лишнее и мешавшее ей. – Давай говорить о твоих делах. Я получила твое письмо и вот приехала.

– Да, вся надежда на тебя, – сказал Степан Аркадьич.

– Ну, расскажи мне все.

И Степан Аркадьич стал рассказывать. Подъехав к дому, Облонский высадил сестру, вздохнул, пожал ее руку и отправился в присутствие.

XIX

Когда Анна вошла в комнату, Долли сидела в маленькой гостиной с белоголовым пухлым мальчиком, уж теперь похожим на отца, и слушала его урок из французского чтения. Мальчик читал, вертя в руке и стараясь оторвать чуть державшуюся пуговицу курточки. Мать несколько раз отнимала руку, но пухлая ручонка опять бралась за пуговицу. Мать оторвала пуговицу и положила ее в карман.

изводили ужасное впечатление, вызывали страх перед «чугункой»: «Что ни дорога, то душегубка», – говорилось во «Внутреннем обозрении» «Отечественных записок» (1875, VI, с. 262). «Железные дороги – душегубки», – писал Некрасов в поэме «Современники» («Отечественные записки», 1876, I, с. 17). Владельцы железных дорог никаких пособий рабочим, пострадавшим при несчастных случаях, не выплачивали. «Изувеченные на железных дорогах, семейства их, равно как и семейства убитых, остаются безо всяких средств пропитания» («Отечественные записки», 1875 № 6, с. 263).

– Успокой ты руки, Гриша, – сказала она и опять взялась за свое одеяло, давнишнюю работу, за которую она всегда бралась в тяжелые минуты, и теперь вязала нервно, закидывая пальцем и считая петли. Хотя она и велела вчера сказать мужу, что ей дела нет до того, приедет или не приедет его сестра, она все приготовила к ее приезду и с волнением ждала золовку.

Долли была убита своим горем, вся поглощена им. Однако она помнила, что Анна, золовка, была жена одного из важнейших лиц в Петербурге и петербургская *grande dame*. И благодаря этому обстоятельству она не исполнила сказанного мужу, то есть не забыла, что приедет золовка. «Да, наконец, Анна ни в чем не виновата, – думала Долли. – Я о ней ничего, кроме самого хорошего, не знаю, и в отношении к себе я видела от нее только ласку и дружбу». Правда, как она могла запомнить свое впечатление в Петербурге у Карениных, ей не нравился самый дом их; что-то было фальшивое во всем складе их семейного быта. «Но за что же я не приму ее? Только бы не вздумала она утешать меня! – думала Долли. – Все утешения и увещания, и прощения христианские – все это я уж тысячу раз передумала, и все это не годится».

Все эти дни Долли была одна с детьми. Говорить о своем горе она не хотела, а с этим горем на душе говорить о постороннем она не могла. Она знала, что, так или иначе, она Анне выскажет все, и то ее радовала мысль о том, как она выскажет, то злила необходимость говорить о своем унижении с ней, его сестрой, и слышать от нее готовые фразы увещания и утешения.

Она, как часто бывает, глядя на часы, ждала ее каждую минуту и пропустила именно ту, когда гостья приехала, так что не слыхала звонка.

Услыхав шум платья и легких шагов уже в дверях, она оглянулась, и на измученном лице ее невольно выразилось не радость, а удивление. Она встала и обняла золовку.

– Как, уж приехала? – сказала она, целуя ее.

– Долли, как я рада тебя видеть!

– И я рада, – слабо улыбаясь и стараясь по выражению лица Анны узнать, знает ли она, сказала Долли. «Верно, знает», – подумала она, заметив соболезнование на лице Анны. – Ну, пойдем, я тебя проведу в твою комнату, – продолжала она, стараясь отдалить сколько возможно минуту объяснения.

– Это Гриша? Боже мой, как он вырос! – сказала Анна и, поцеловав его, не спуская глаз с Долли, остановилась и покраснела. – Нет, позволь никуда не ходить.

Она сняла платок, шляпу и, зацепив ею за прядь своих черных, везде выющихся волос, мотая головой, отцепляла волоса.

– А ты сияешь счастьем и здоровьем! – сказала Долли почти с завистью.

– Я?.. Да, – сказала Анна. – Боже мой, Таня! Ровесница Сереже моему, – прибавила она, обращаясь ко вбежавшей девочке. Она взяла ее на руки и поцеловала. – Прелестная девочка, прелесть! Покажи же мне всех.

Она называла их и припоминала не только имена, но года, месяцы, характеры, болезни всех детей, и Долли не могла не оценить этого.

– Ну, так пойдем к ним, – сказала она. – Вася спит теперь, жалко.

Осмотрев детей, они сели, уже одни, в гостиной, пред кофеем. Анна взялась за поднос и потом отодвинула его.

– Долли, – сказала она, – он говорил мне.

Долли холодно посмотрела на Анну. Она ждала теперь притворно-сочувственных фраз; но Анна ничего такого не сказала.

– Долли, милая! – сказала она, – я не хочу ни говорить тебе за него, ни утешать; это нельзя. Но, душенька, мне просто жалко, жалко тебя всею душой!

Из-за густых ресниц ее блестящих глаз вдруг показались слезы. Она пересела ближе к невестке и взяла ее руку своею энергическою маленькою рукой. Долли не отстранилась, но лицо ее не изменяло своего сухого выражения. Она сказала:

– Утешить меня нельзя. Все потеряно после того, что было, все пропало!

И как только она сказала это, выражение лица ее вдруг смягчилось. Анна подняла сухую, худую руку Долли, поцеловала ее и сказала:

– Но, Долли, что же делать, что же делать? Как лучше поступить в этом ужасном положении? – вот о чем надо подумать.

– Все кончено, и больше ничего, – сказала Долли. – И хуже всего то, ты пойми, что я не могу его бросить; дети, я связана. А с ним жить я не могу, мне мука видеть его.

– Долли, голубчик, он говорил мне, но я от тебя хочу слышать, скажи мне все.

Долли посмотрела на нее вопросительно.

Участие и любовь непритворные видны были на лице Анны.

– Изволь, – вдруг сказала она. – Но я скажу сначала. Ты знаешь, как я вышла замуж. Я с воспитанием тамап не только была невинна, но я была глупа. Я ничего не знала. Говорят, я знаю, мужья рассказывают женам свою прежнюю жизнь, но Стива... – она поправилась, – Степан Аркадьич ничего не сказал мне. Ты не поверишь, но я до сей поры думала, что я одна женщина, которую он знал. Так я жила восемь лет. Ты пойми, что я не только не подозревала неверности, но что я считала это невозможным, и тут, представь себе, с такими понятиями узнать вдруг весь ужас, всю гадость... Ты пойми меня. Быть уверенной вполне в своем счастье, и вдруг... – продолжала Долли, удерживая рыдания, – и получить письмо... письмо его к своей любовнице, к моей гувернантке. Нет, это слишком ужасно! – Она поспешно вынула платок и закрыла им лицо. – Я понимаю еще увлечение, – продолжала она, помолчав, – но обдуманно, хитро обманывать меня... с кем же?.. Продолжать быть моим мужем вместе с нею... это ужасно! Ты не можешь понять...

– О, нет, я понимаю! Понимаю, милая Долли, понимаю, – говорила Анна, пожимая ее руку.

– И ты думаешь, что он понимает весь ужас моего положения? – продолжала Долли. – Нисколько! Он счастлив и доволен.

– О, нет! – быстро перебила Анна. – Он жалок, он убит раскаяньем...

– Способен ли он к раскаянью? – перебила Долли, внимательно вглядываясь в лицо золовки.

– Да, я его знаю. Я не могла без жалости смотреть на него. Мы его обе знаем. Он добр, но он горд, а теперь так унижен. Главное, что меня тронуло (и тут Анна угадала главное, что могло тронуть Долли) – его мучают две вещи: то, что ему стыдно детей, и то, что он, любя тебя... да, да, любя больше всего на свете, – поспешно перебила она хотевшую возражать Долли, – сделал тебе больно, убил тебя. «Нет, нет, она не простит», все говорит он.

Долли задумчиво смотрела мимо золовки, слушая ее слова.

– Да, я понимаю, что положение его ужасное; виноватому хуже, чем невинному, – сказала она, – если он чувствует, что от вины его все несчастье. Но как же простить, как мне опять быть его женою после нее? Мне жить с ним теперь будет мученье, именно потому, что я любила его, как любила, что я люблю свою прошедшую любовь к нему...

И рыдания перервали ее слова.

Но как будто нарочно, каждый раз, как она смягчалась, она начинала опять говорить о том, что раздражало ее.

– Она ведь молода, ведь она красива, – продолжала она. – Ты понимаешь ли, Анна, что у меня моя молодость, красота взяты кем? Им и его детьми. Я отслужила ему, и на этой службе ушло все мое, и ему теперь, разумеется, свежее пошлое существо приятнее. Они, верно, говорили между собою обо мне или, еще хуже, умалчивали, – ты понимаешь? – Опять ненавистью зажглись ее глаза. – И после этого он будет говорить мне... Что ж, я буду верить ему? Никогда. Нет, уж кончено все, все, что составляло утешенье, награду труда, мук... Ты поверишь ли? я сейчас учила Гришу: прежде это бывало радость, теперь мученье. Зачем я стараюсь, тружусь?

Зачем дети? Ужасно то, что вдруг душа моя перевернулась, и вместо любви, нежности у меня к нему одна злоба, да, злоба. Я бы убила его и...

– Душенька, Долли, я понимаю, но не мучь себя. Ты так оскорблена, так возбуждена, что ты многое видишь не так.

Долли затихла, и они минуты две помолчали.

– Что делать, придумай, Анна, помоги. Я все передумала и ничего не вижу.

Анна ничего не могла придумать, но сердце ее прямо отзывалось на каждое слово, на каждое выражение лица невестки.

– Я одно скажу, – начала Анна, – я его сестра, я знаю его характер, эту способность все, все забыть (она сделала жест пред лбом), эту способность полного увлечения, но зато и полного раскаяния. Он не верит, не понимает теперь, как он мог сделать то, что сделал.

– Нет, он понимает, он понимал! – перебила Долли. – Но я... ты забываешь меня... разве мне легче?

– Постой. Когда он говорил мне, признаюсь тебе, я не понимала еще всего ужаса твоего положения. Я видела только его и то, что семья расстроена; мне его жалко было, но, поговорив с тобой, я, как женщина, вижу другое; я вижу твои страдания, и мне, не могу тебе сказать, как жаль тебя! Но, Долли, душенька, я понимаю твои страдания вполне, только одного я не знаю: я не знаю... я не знаю, насколько в душе твоей есть еще любви к нему. Это ты знаешь, – настолько ли есть, чтобы можно было простить. Если есть, то прости!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.